

84P6
A42 K

Николай Аксенов



Доброта

12 р.

Э.К.

0116
А42

Николай Аксенов



№ 162866 4

Доброта
Рассказы

№ 162866

Курган

«Парус-М», 2003

Центральная городская библиотека им. В. Маяковского

Отдел краеведческой информации

Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского

ул. Пролетарская, 41, тел.: 45-42-53

4-30А

Николай Алексеевич Аксенов

Доброта

Рассказы

Сердечно благодарю Александра Даниловича Немирова, всех тружеников акционерного общества «Картофель» за финансовую помощь в издании книги.

Николай Аксенов

ISBN 5-86047-151-3

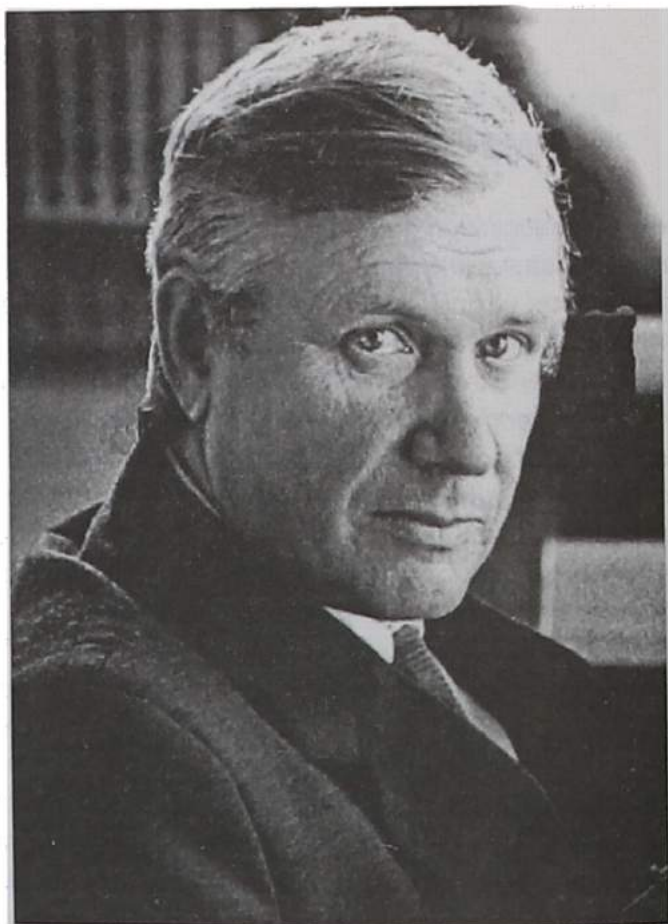
«Парус - М», 2003

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Автора рассказов этого сборника Николая Алексеевича Аксенова я знаю без малого сорок лет. Более того, все это время нас связывают настоящая мужская дружба, творческая работа, а порой отношения и дела житейские. Не знаю за все эти годы случая, чтобы Николай Аксенов, человек исключительно даровитый от Бога и матери-природы, на все руки мастер, умеющий и в стог сено сметать, и землю-кормилицу вспахать, и слово светоносное сказать, и на баяне сыграть, и стихи написать, погрешил бы когда перед истиной и правдой жизни, перед ее животворными истоками.

Назвал Николай Аксенов свой сборник "Доброта". Думаю потому, что доброта и справедливость - главные черты характера самого автора. Приглядитесь к его лицу при встрече, эти прекрасные чувства лучатся особым сердечным светом из его сияющих глаз. Ни разу за эти годы я не видел их равнодушными. Печальными - да. Но и эта печаль не за свои упущенные, казалось бы, зримые успехи, корысти, а за судьбу и горести своих земляков, дорогого Отечества. Боль человеческую Аксенов чувствует своей болью, радость людскую - трепетом своего сердца. Уверен, и ваше сердце будет биться при чтении книги в унисон с сердцем автора.

Геннадий Устюжанин



Николай Аксенов

*Прости меня, земля моя родная,
За долгий путь к твоим густым лесам.
Своих дорог ничуть не проклиная,
К тебе по ним я добирался сам.
Как сквозь огонь, я шел к тебе сквозь годы,
Летел и плыл, и ехал на коне.
И золотая звездочка свободы
С твоих высот всегда светила мне.
И вот я здесь, где ярок свет весенний,
Где тает грусть в родительской избе.
Я тихо опускаюсь на колени
И по-сыновьи кланяюсь тебе.
Мне кажется, что на земле привольной
Остановилась времени река.
А над церковной красной колокольней
Плывут, плывут, как в детстве, облака.*



ДВЕ ВСТРЕЧИ

Перед самым рассветом по земле проскакал невидимый дождь. Не промолив глубоко почву, он все же обмыл пропыленные майскими ветрами леса и травы, обрадовал их своим дробным весом постуком, оросил поля и умчался, лихой и хлесткий, навстречу едва осветившему восток солнцу. А когда солнце сожгло маковую зарю и выкатилось на просветленный небосклон, его лучи тронули охолонувшую от вчерашнего зноя округу, она засверкала ничуть не потерявшими своей чистоты каплями. Бесчисленные крошечные солнышки падали с подрагивающих березовых и осиновых листьев, сияли на расправившейся траве, в чашечках обновленных влагой цветов и на поднявшихся в четверть хлебных всходах.

От утреннего тепла запарили прозрачным дымком пашни, прикрываясь легкой волнующейся кисеей. Прозрачных капелек становилось все меньше и меньше, словно самовлюбленное солнце не могло перенести их яркого блеска и безжалостно смахивало со всего, что видело с

высоты. Но оно еще не успело раскалить воздух, поэтому дышалось легко, в полную грудь. Высветленные дождем краски пока не поблекли, и всё окрест было чистым, далеко видимым и звучным: слышались переливы жаворонков, беспокойные вскрики чибисов, и без умолку куковала прилетевшая кукушка.

В эту по-июньски раннюю пору асфальтированным шоссе неторопливо шел одинокий путник. На асфальте еще не успели просохнуть лужи, они отражали небесную синеву, а иногда и солнце, и его яркие отблески ослепляли путника. Тогда тот невольно морщился, смотрел в сторону, а то и отклонялся вправо или влево, чтобы обойти вспыхивающий из-под земли свет. Путник сильно прихрамывал и опирался на вырезанную из ракового ствола палку, но шагал уверенно, разнотонно постукивая подковками на стоптанных кирзовых сапогах. Да и одежда его оставляла желать лучшего: некозырная с оторванной лентой шляпа, залатанный пиджачишко, застегнутый только на одну пуговицу, на отвороте которого была косо приколата медаль участника Великой Отечественной войны. Под пиджаком виднелась давно потерявшая изначальный цвет рубашка, а широкие серые брюки, оттянутые спереди коленями, были выпущены поверх голенищ, отчего его невысокая, худая и расшатанная фигура вызывала с первого взгляда вопросительное недоумение, потом непонятное сочувствие и, наконец, жалость.

По-видимому, путника нисколько не трогало это удивительное летнее утро с его красками, запахами, звуками. Он шел сосредоточенный, насупив густые брови, смотрел прямо перед собой, и его морщинистое лицо, покрытое пегой от седины бородой, оставалось хмурым и безучастным. Лишь изредка он оглядывался коротко и опять продолжал шагать по пустынной в такую рань дороге: видимо, что-то заставляло его спешить. Даже закуривал путник на ходу, зажав палку подмышкой и скособочившись. Он испортил четыре спички, но пятой все-таки прикурил, глупо-

ко затянулся и выдохнул перед собою едва видимый в ярком свете дым.

Внезапно путник остановился, обернулся назад, прислушался, но не к птичьему пению, а к какому-то другому звуку, и лицо его сразу же посветлело. Он подряд несколько раз жадно курнул и тотчас же отбросил окурочек на обочину, потому что из-за недалекого поворота вывернулся сиреневый "Запорожец". Автомобиль шипел колесами, надвигался быстро. Пешеход поднял руку, даже вытянулся в ожидании, но ещё издали понял, что "Запорожец" не совсем обычный: на ветровом стекле четко выделялся желтый квадрат с силуэтом сидящего человека. Мужчина замахал рукой, но плохо различимый за блестящим стеклом водитель и без того уже сбросил газ, притормаживал: так что к нему "Запорожец" подкатился медленно и остановился рядом. Водитель изнутри открыл дверцу, а путник торопливо распахнул её, но сразу не сел, а только согнулся, просительно глядя на хозяина.

- Куда путь держишь, браток? – приветливо спросил тот.

- Будьте любезны. До города, - еще ниже нагнувшись, заговорил попутчик, и голос у него оказался хрипловатым, словно после недавней простуды. – Срочно нужно...

- Да садись ты! – улыбнувшись, прервал водитель. – Я в город и еду.

- Премного признателен, - заторопился мужчина, просунулся, но никак не мог поместить в машине свою палку.

Водитель взял её, положил на заднее сиденье, после чего попутчик так быстро и ловко сел, будто выходил из салона всего на одну минуту. "Запорожец" был с ручным управлением: водитель короткопалой ладонью привычно перебрал рычаги, тронул машину с места, и когда та набрала скорость, чуть повернулся округлым, набритым докрасна лицом к мужчине, сложившему между колен руки, кивнул на медаль:

- Фронтвик, вижу?

- Да, да! – словно бы очнулся и повеселел тот. – Фронтвик!

- Сам-то откуда?

- Из Васильевки.

- А я из Воронова. Земляки, значит. Всего-то в пятнадцати километрах живем.

- Земляки, - поудобнее устраиваясь на сиденье, согласился попутчик.

- Земляки-то, земляки, - поправил себя водитель, - а я в вашем селе только проездом бывал. Озеро у вас хорошее. Не рыбачишь?

- Не рыбачу. Не увлечен.

- А я все свободное время с удочками. У нас в Воронове речушка воробью по колено. Мы на ней своими силами плотину небольшую построили. Ну и тешимся. Нетнет, да на уху и поймает. А как у вас Фролов Петр, Петр Астафьевич, поживает? Мы с ним в запрошлом году в областном госпитале лежали. Тоже рыбак заядлый.

- Фролов? Что-то не знаю. Я в Васильевку недавно переехал.

- Откуда?

- Из Казахстана.

- С целины, значит? Чего же там не пожилось?

- Э-э, какая там теперь жизнь. Одно название. Ни зарплаты, ни света, и пенсию стали платить с шестидесяти пяти лет. Припеваючи жили когда-то, всего хватало: и хлеба, и кормов, а теперь беднота да темнота. Вот и бегут с бывшей целины людишки.

- Да, заварили кашу наши перестройщики. Теперь ни они, ни мы не знаем, как её расхлебать. И у нас тоже все разрушено. Наш колхоз "Дружба" на всю область гремел. Крупный рогатый скот откармливали по канадской технологии. По пятьсот тонн мяса продавали государству ежегодно. А теперь и колхоза нет, и ни одной головы скота нет. Четыре маломальских товарищества, и те, как говорится, на ладан дышат. Так вот – я о Фролове-то. У него рука в локте раздроблена. Под Сталинградом. А ты, браток, на каком фронте воевал?

- На многих, - коротко и как бы нехотя ответил пассажир.

- А откуда домой пришел?

- От Волхова. По ранению.

- Хлебнули мы на войне горюшка. Скоро шестьдесят, как она, проклятая, закончилась, а нас все мучает. То ранами, то памятью нашей. И, наверное, до гробовой доски мучить будет.

- Война – так и война. Она никого не миловала, - сказал попутчик, поглядывая в боковое стекло.

Водитель тоже глянул туда, но ничего особенного там не увидел.

- Да! – шумно вздохнул он. – Немало земли от Курил до Берлина нашей кровушкой полито. Я четыре года оттянул ляжку. Угадал из Сибири на Кавказ, а оттуда до Праги дошел. Трижды в госпиталях отлеживался. А с копылок меня скovyрнул япошка. В Маньчжурии как литовкой отрезало. - Водитель правой рукой приподнял штанину, под нею матово оголился когда-то покрашенный черной краской, но уже вытершийся и посеревший протез. - Так с сорок пятого эту болванку и таскаю. У тебя-то свои, целы?

- А-а! – горько поджал губы попутчик. – И на ногах да без ног. День проживешь и ладно: к смерти ближе. Кому мы сейчас нужны, фронтовики-то?

- Да никому, – поддержал водитель. – Слава Богу, хоть "Книги памяти" к пятидесятилетию отпечатали... Хоть в них наши имена упомянуты, спасибо добрым людям. А так что ж? На пенсию кое-как просуществовать можно, а льготы – только на бумаге. Да что говорить о нас! Афганцы и те забыты. А им еще жить да жить. Вот ведь какое время настало. А разные писаки ещё и чернят нас, прошлое наше оплевывают. Виноватят, как будто мы какое-то преступление совершили, когда фашистскую гадину раздавили.

- Живем хуже некуда. Одни миллионами ворочают, а я вот две тысячи рублей пенсию получаю. Как на неё прожить, одному Богу известно.

- Мизер! Я около трех получаю, так этого не хватает даже на то, чтобы мой "Запорожец" в исправности содержать. Да и бензин-то уже по семь рублей за литр продают.

Попутчик почему-то не поддержал этого разговора, и некоторое время они молчали. Машина мелко подрагивала, мягко оседала на неровном асфальте, кренилась на крутых поворотах. И по ней, и по лицам людей стремительно скользили частые тени тополей, что стояли у самой дороги.

- Утро-то, какое доброе! – снова первым заговорил водитель. – В такое утро только бы с удочкой сидеть да окунишек дергать. Ты с какого года-то?

- С двадцать шестого.

- А я с двадцать четвертого. Ты не в Чебаркульских лагерях перед фронтом обучался?

- В Чебаркульских. А вы тоже там?

- Тоже, - посуровел водитель. – Нехорошее было время. Двести граммов хлеба в сутки, болтанка из крупы. Да не тебе говорить об этом: сам все испытал. А ведь выжили, на фронт ушли, воевали. И победили.

- На фронте-то мы после лагерей воспряли, если можно так сказать. Война войной, но там хоть кормили получше, - разговорился попутчик. – А то, помню, у нас один солдат схватил булку хлеба с повозки у КП и пока бежал до казармы, почти всю съел. Успели отобрать только краюху. А до казармы всего сто метров.

- Что и говорить! – тряхнул головой водитель. – Будь она трижды проклята эта война! Сколько жизней погубила, сколько калек оставила. А при нынешнем режиме ещё и в своем государстве повсюду воюем. Воли хотели – получили волю. Ты не работаешь?

- Какая работа! – отмахнулся собеседник. – У нас молодые парни без дела болтаются. Кто приворовывает, кто на родительской шее сидит. Никому не нужны.

- А я все ещё помаленьку столярничаю. Сейчас в селах таких-то специалистов днем с огнем поискать. Кому

рамы сделаю, кому двери. А то и домовину приходится изготовить. Не могу без дела сидеть. Да и приработок к пенсии получается. Ребята у меня в городе живут, зарплату по полгода не получают. Вот мы со старухой им и помогаем. И сегодня гуманитарную помощь им везу, - с улыбкой пошутил он и тут же сбавил скорость, сосредоточился, потому что навстречу мчался первый за это утро пассажирский автобус. Он летел накатию, дымил соляровым дымом, надвинулся, мелькнул мимо и оглушительно рывкнул всей мощью нагруженного дизеля.

- Ишь ты! - не то осудил, не то похвалил водитель. - Видел табличку-то? Не автобус, а маршрутное такси. На нем уж бесплатно с нашим удостоверением не прокатишься. Денежки платить придется. А ты в город-то, браток, зачем едешь?

- Да так! - замялся попутчик. - Дела кой-какие.

- А я ребят навещать еду. Давно уже не был. А им тоже шансы приехать не позволяют. У меня два сына да четыре внука, да уже два правнука. Везу им молочка да сметанки, да деньжонок на пропитание. Куда денешься, если жизнь такая пошла.

Вдалеке показался город, затянутый сизой, туманной дымкой. До него оставалось, пожалуй, километров семь, но уже сквозь дымку проступали многоэтажные дома, полз по невидимому железнодорожному полотну поезд, похожий на гигантского червяка. А надо всем этим коптели голубое небо многочисленные разнокалиберные трубы, и дымы в неподвижном воздухе казались продолжениями тех огромных труб, но чем выше они поднимались, тем больше изгибались, лохматились, бледнели и, наконец, таяли без остатка.

- Не люблю я города! - категорично высказал свое мнение водитель. - Видишь, какое там облачение. День походишь, потом три дня сажу отхаркиваешь. То ли дело у нас в Воронове. Кругом леса, воздух чистый, без дыму, без газу, то-то горожане теперь и стремятся на выходные

поближе к природе. Почти у всех дачи, участки. И кроме всего прочего продукты свои. На нынешнюю зарплату не больно-то разбежишься.

- Да, - коротко согласился с ним попутчик, достал из кармана сигареты и вопросительно посмотрел на водителя.

- Кури, кури, - разрешил тот. - Я сам, правда, ещё в первом госпитале это баловство бросил, а табачного запашку не чураюсь. Как говорится: мужиком пахнет.

- Я тоже все намереваюсь бросить, да терпения не хватает, - пожаловался попутчик. - Одному такое дается легко, а вот другому не под силу.

- Конечно. Бывало, на войне курили что попало: крапиву, лист подсолнуха. Горечь, а все-таки какое ни на есть утешение. Тебя где высадить-то?

- Да хоть за мостом сразу.

- Если далеко добираться, я подбросить могу.

- Нет-нет, - заторопился попутчик и потянулся на заднее сиденье за палкой. - Не стоит утруждаться. Я отсюда сам доберусь.

Они по высокой дамбе миновали тесное скопище дачных домиков, проехали через узкий мост, задержались перед светофором и выехали на небольшую площадь, по правой стороне которой тянулся небольшой скверик, уставленный торговыми палатками.

- Большущее вам спасибочко, - поблагодарил попутчик, когда машина остановилась у тротуара. - Премного признателен.

- Не стоит. Фронтоник фронтоника видит издалека, - переделал водитель известную поговорку. - Счастливо управиться.

- И вам счастливо.

Попутчик выбрался из кабины, задев шляпой за уплотнительную резину, шляпа сползла на затылок, но он подхватил её, уже стоя на тротуаре, поправил и пошел сквериком мимо торговых палаток. Он ни разу не оглянулся, а водитель проводил его взглядом, в задумчивости и неко-

тором недоумении покусал губу, поправил сбитый пассажиром с сиденья чехол, вздохнул и отправился проведать своих близких.

... Часа в четыре за полдень тот же самый сиреневый "Запорожец" остановился на грязной улочке перед колхозным рынком. Водитель в скопище автомашин долго высматривал место для стоянки, наконец, высмотрел, сдал назад и втиснул свою заслуженную ранами технику между напыщенной, сверкающей черной лакировкой "Волгой" и приземистой перламутровой иномаркой. В её салоне сидели две востроглазые девочки: одна из них что-то сказала другой, показав на неказистый "Запорожец", и они громко засмеялись. Водитель тоже улыбнулся веселым девочкам, деловито обсасывающим леденцовые "чупсы", вынул из багажника пухлый ком ветоши и старательно протер порошенные уличной пылью стекла. Затем достал из кабины полиэтиленовый пакет, закрыл дверцу ключом, подергал – закрылась ли? – и похрустывая разболтавшимся в последнее время протезом, неторопливо двинулся к входу на рынок, где в обе стороны стекали и поднимались по широким ступеням озабоченные своими делами люди.

Невысокая, плотная его фигура слилась с тем потоком, который спускался на территорию рынка, проплыла с ним между тесными рядами ларьков и выделилась напротив того места, где стояли длинные столы, заваленные первыми парниковыми овощами. Рынок ошеломлял множеством людей, разнообразием товаров, покрякиванием разбитных продавщиц, несмолкающим говором покупателей, шарканьем ног, только рынку присущими запахами, до того перемешанными, что невозможно различить их между собою. Мужчина озабоченно потоптался у пучков ярко-красной, мелковатой из-за ранней поры редиски, спросил о цене изогнутых, словно зеленые сабли, огурцов, удивился вслух, но все-таки купил парочку на домашнюю окрошку. Потом он перешел туда, где торговали сохранившимися с прошлого лета фруктами. Постоял у одних ве-

сов, у других, обошел весь ряд, но все же вернулся к первым. Продавщица услужливо ссыпала яблоки ему в пакет, приняла потными пальцами трудовые деньги водителя, и тот уже без озабоченности направился к выходу, раздвигая своими окатистыми плечами встречных. Из круглого павильончика опахло жареным мясом, там стояло несколько денежных любителей шашлыков и пива, в основном уроженцев знойного юга, но наш герой только взглянул туда мельком. Он шел, не озираясь больше по сторонам: видимо, купил всё, что ему было нужно. Мужчина приблизился уже к самой лестнице, уже занес ногу на первую ступеньку и тут услышал просящий со слезой, надтреснутый и хрипловатый, словно после недавней простуды, голос:

- Милосердные граждане, господа, подайте на пропитание потерявшему ради вас здоровье.

Произносились эти страшные по своей сути слова скорговоркой, но так умоляюще, в таком отчаянии, с таким сразу проникающим в сознание, в душу надрывом, и голос показался так знаком, что владелец "Запорожца" невольно остановился. Идущие следом наткнулись на него, кто-то проворчал недовольно, толкнул его сбоку, потеснил к парапету, и уже оттуда он увидел сидящего на земле у исписанного нехорошими словами заборчика человека. Сидел человек, поджав под себя ноги, низко надвинув на глаза шляпу, а перед ним стояла белая консервная банка, частично заполненная монетами. Лица его нельзя было разглядеть: из-под шляпы выставлялась лишь пегая борода, но по ней, по рваному пиджаку с косо приколотой медалью "XXX лет Победы" и по голосу водитель сразу узнал своего давешнего попутчика.

Тот с небольшими паузами тянул и тянул свою слезливую просьбу, но большинство людей равнодушно проходили мимо, даже не смотрели в его сторону, настолько уже за последние годы привыкли к побирушкам и нищим, но все-таки самые сердобольные и жалостливые останавливались

и бросали в банку монетку или самую мелкую бумажку.

А водитель "Запорожца" смотрел на своего знакомого сверху, и у него нервно подергивалась щека. Выражение глаз его стало злым и презрительным: казалось, что он готов броситься на своего попутчика, оскорбить его, пнуть банку с деньгами ногой, чтобы они разлетелись по грязному асфальту. Но бывший солдат закрыл глаза, а когда открыл их, то глаза его были полны слезами. Он осторожно спустился по ступенькам вниз, достал из кармана пятидесятирублевую купюру и остановился перед своим знакомым. Так стоял он некоторое время, а сидящий, вероятно, почувствовал на себе его долгий взгляд, потому что взглянул исподлобья на стоящего перед ним человека. Взглянул и тотчас же опустил голову, втянул ее в плечи, сжался, как будто бы ожидал удара. Но его никто не бил, поэтому он снова выпрямился, поднял голову и шевелил губами, стараясь что-то произнести, видимо, в свое оправдание.

Но водитель "Запорожца" не стал его слушать, он просто положил пятьдесят рублей в банку и пошел, похрустывая расшатавшимся в последнее время протезом.



ГАРМОНЬ

Учителю и поэту Дмитрию Андриановичу Белоусову
посвящается

И куда только не забросит человека жизнь, какие края не покажет, чем не удивит, чему не научит, с кем только не сведет, какими встречами не огорчит, не обрадует. Одна встреча скользнет мимо без следа, другая же, западет в память — вроде бы незначительное событие, а часто вспоминаешь о нем. И каждый раз оно предстает перед тобой заново, да так ясно, будто и не минуло столько времени с той далекой случайной встречи. Как из маленьких разноцветных камешков художником создается прекрасная мозаика, так из всего виденного и пережитого складывается внутренний человеческий мир. И хотя происходящее осмысливается не сразу, оно не проходит бесследно, и всё, нам присущее — хорошее или дурное — рождается из этих явлений и встреч, незаметно влияющих тем или иным способом на нашу натуру. Да и сама человеческая жизнь — это тоже своего рода непрерывная встреча: в юности — с неизвестным желанным будущим, в пору зрелости — с окружающим нас осмысленным настоящим, а когда наступает старость — с прошлым, от первых и до последних дней похожим на мимолетный волшебный сон.

Несколько лет назад гостили мы всей семьей у моей тещи Анны Ивановны в деревеньке со странным названием Козино, что в Ивановской области, недалеко от Волги. Теперь этой деревни нет, как и многих других, от неё

Центральная городская библиотека им. В. Маяковского	ДОБРОТА	Центральная городская библиотека им. Б. В. Маяковского
Отдел краеведческой информации		4-30А
ул. Пролетарская, 41, тел.: 45-42-53		

остались лишь подугольные камни да заросшие травой ямы. А тогда насчитывалось пять крытых осиновою дравью домов, два из которых были тоже покинуты хозяевами и печально смотрели на улицу пустыми безжизненными провалами окон. С трех сторон деревеньку тесно обступали измочаленные порубками, захламленные валежником, но все еще густые и обширные кержацкие леса, и лишь на запад с высокого крыльца или, как там говорят «выхода», открывалось ещё неубранное ржаное поле.

Не впервые мы проводили свой отпуск у тещи, но я, как и в прошлые годы, не мог надышаться чистым, густо настоящим на медвяных травах воздухом, наслаждался безмятежным покоем этих исконно русских захолустных мест, где само время казалось сонным и неподвижным; отдыхал в деревенской тишине, такой отчетливой, что порою от неё начинал позванивать в ушах серебряный колокольчик.

Ребятишки целыми днями носились с многочисленными двоюродными братьями, женщины то занимались стиркой, то мыли в доме, то готовили еду, а я, чтобы не мешать им, брал в руки легонькую пестерюшку и уходил в лес искать грибы. Именно – искать, потому что то лето выдалось сухим; правда, перед нашим приездом выпали дожди, но земля досыта не насытилась ими, впитала до капельки и при малейшем ветре на дорогах уже закручивалась мелкая и светлая, словно пудра, пыль. Так что грибов было очень мало: только изредка на старых лесных пропашках попадались худосочные маслята, да иногда красные сыроежки проблескивали на мелкотравных полянах, где-нибудь подле березок.

Такие малодобычливые прогулки доставляли удовольствие, но не удовлетворение, потому что в былые годы мы из этого же леса, который назывался Лежанкой, так как там отдыхали после дойки коровы, приносили по четыре ведерных корзины белых. Округу я мало-мало знал, в любом лесу, даже незнакомом, ориентировался хоро-

шо, поэтому уходил от деревни все дальше и дальше. Вообще-то я не забирался в глушь, придерживался вырубков, просек, тропок оттого, что мне, жителю лесостепи, в мрачном еловом лесу становилось не по себе. Мне больше по душе сосновый, где видно далеко и шагать легко, словно ты не в бору, а в огромном, подпертом высокими желтыми колоннами и застланном ворсистым коричнево-зеленым ковром зале. И мусор-то на тебя не сыплется, и во мху ты не тонешь до колен, и грибы сразу заметны – сидят семейками.

Так бегал я, тешился, пока не притащилось с северной стороны трехдневное ненастье, которое не ливнем, не моросью, а тяжелым сырым туманом сочилось днем и ночью из белесых неподвижных облаков, клубилось над лесами и пашнями. Вроде бы и дождя не видно, а с крыш постоянно капало, трава была мокрой, и оставшиеся без пастьбы телята тоскливо мычали во дворах. Когда я выходил на улицу, через несколько минут волглая рубашка уже холодила тело. Всю округу скрывала молочная пелена, и настроение наше было пасмурным, как сама погода. На второй день ненастья, несмотря на уговоры родных, я сунулся было в лес, но вскоре вымок до нитки. В кирзовых сапогах, что принесли для меня от свояка, захлюпала вода, и сам лес показался мне таким угрюмым, что я поскорее выбрался к льняному полю и напрямик пошагал домой.

А через три дня ненадолго проглянуло солнце, обогрело, обрадовало и, хотя через некоторое время снова скрылось за облаками, стало очевидно, что ненастье сошло на нет, что вот-вот небо очистится и наступит ведро. До вечера оставалось немало времени, поэтому я взял свою неизменную корзинку и отправился ненакатанной дорожкой между двух засеянных рожью полей на Лежанку, что находилась к деревне ближе других урочищ. С деревьев уже не лилось, трава, обласканная солнцем, высохла. Радостно перекликались иволги, и в воздухе ощущался

тот пьянящий настой запахов, которым я никогда не мог насладиться досыта.

Первый белый гриб я увидел, не дойдя метров пятидесяти до настоящего леса, прямо у дороги под высокими соснами, но не у самых стволов, а чуть поодаль. Увидел и не поверил своим глазам – так это получилось неожиданно. Я, осторожно ступая, чтобы ненароком не раздавить другие, возможно скрытые поблизости в своих земляных гнездышках, приблизился к нему, присел на корточки и долго любовался только что вылупившейся из земли коричневой округлой шляпкой с приставшими к ней такими же коричневыми хвоинками. За первым грибом встретился мне и второй, красивый и плотный крепыш, липкий от присосавшейся к нему улитки. Такие молоденькие грибы по местному называются "коровками", а отчего это ласковое название, мне неизвестно, только грибы постарше, у которых низ шляпки зеленоватый – уже "синюхи". Впрочем, последнее название мне кажется не совсем справедливым, так как белый гриб в своем совершенстве всегда остается непревзойденным.

Грибы нечасто, но все-таки попадались, и я шел, сосредоточенно и внимательно оглядывая почву перед собой, отодвигая рукой колючие ветви. Двигался все вроде бы к северу, но когда корзинка наполнилась, я увидел, что нахожусь в совершенно незнакомом мне ельнике, где редкие и могучие замшелые деревья росли просторно, далеко друг от друга, а около них не только подлеска, даже травы не было, лишь мягкий белый мох податливо пружинил под сапогами.

Я растерянно посмотрел вверх, где за кончики островерхих зеленых шатров цеплялись блудливые непроницаемые тучи, потоптался с задранной головой и никак не мог определить сторон света, понять, куда теперь идти. Я вспомнил читанные в умных книгах советы, как по ветвям деревьев, по лишайникам на них, по муравейникам найти верное направление. Но сколько ни разглядывал

раскидистые матерые ели, со всех сторон они казались мне одинаковыми, а муравейников поблизости не нашлось, и это ещё больше сбilo меня с толку.

Я попытался отыскать заросшую травой и заметную лишь по глубоким тележным продавлимам заброшенную людьми дорожку, ведущую на Лежанку, но не нашел: места были мне незнакомы – угрюмые ельники да затянутые кипреем порубки. Я понял, что заблудился, иду наобум и, может быть, удаляюсь от Козино, а не приближаюсь к нему. Только мне все казалось, что я иду правильно и вот-вот попаду на знакомую мне поляну. Уж так случается, когда в пасмурную погоду закружится в чащах человек: он то убредает совсем не туда, куда ему нужно, или колесит около одного и того же места, как привязанный к колышку теленок. Через полчаса я наткнулся на пересекавшую мой путь прямую наезженную дорогу, на которой тускло отсвечивали пятна грязных, растянутых тракторными колесами луж. Постоял в раздумье и двинулся налево, туда, где лес редился, белел молочным березняком с незначительной примесью молодых сосенок. Стало светлее: облака поднялись выше, раздвинулись и сквозь них проглянуло темно-голубое небо. Солнце ещё не показывалось, но угадывалось, и я видел, что шагаю теперь на запад, а до этого все время двигался на север, в противоположную от Козино сторону. Следовало бы мне повернуть к дому, да не хотелось тащиться несколько километров по лесам, поэтому я пошел обочиной, рассудив, что дорога обязательно приведет к людям. Наверное, было около семи часов, я торопился и старался не обращать внимания на многочисленные вереницы маслят, почетным караулом выстроившихся вдоль дороги: иногда чуть не наступал на них и, конечно же, жалел, что встретились мне они совсем некстати.

Чуть-чуть подул ветерок: на земле он не ощущался, а вот деревья тихо шумели, на верхушках березок пошевеливалась листва. Ветер тянул навстречу и откуда-то из

далека вместе с ним до меня доносился какой-то музыкальный, знакомый, но ещё не определившийся в сознании звук. Я радовался ему, вслушивался с открытым ртом, замерев, как на глухаринной охоте, но звук долетал слабо, он растворялся в лесных шорохах и шумах, и я никак не мог уловить в нем своеобразия: пастуший ли рожок, ещё бытующий в этих северных местах, транзисторный радиоприемник или же динамик на клубной крыше?

Иногда звук затихал, иногда усиливался, а я спешил к нему и отчего-то даже побаивался, как бы он не исчез совсем, не потерялся в безбрежной лесной глухомани. Я не хотел, чтобы этот звук пропал, дорожил им, как бесценной путеводной нитью и, наконец, понял, что это играет гармошка. Мелодию я сразу не сумел распознать, потому что она доносилась отрывочно, бессвязно и все-таки слышал в ней нечто народное, веселое, так и подстрекающее притопнуть ногою. На некоторое время гармошка замолкла. Я же прибавил шагу, поскольку мне не терпелось выбраться из леса хоть к какому-нибудь жилью, а тем более увидеть владельца гармони. Сам я тоже гармонист, немало в моих руках перебивало двухрядок: с молодых лет играл на сельских вечёрках, выступал на сцене, веселил честные компании на свадьбах и гулянках, поэтому никогда не могу равнодушно слышать гармони. Сейчас в деревне гармошка становится большой редкостью. Вернее, найдешь-то её в любом магазине, а вот гармонистов нет, выживают их современные электрические машинки. Но машинки эти бездушны, они лишь для слуха, а гармонь способна страдать и радоваться, веселиться и горевать, скорбеть и славить, воспевать и оплакивать. В умелых руках душевного человека она способна выразить самые тончайшие оттенки нашего состояния, чувства, отношение к окружающему обществу. По моему убеждению, музыка – это человеческая душа. Она так же величественна и необъятна, таинственна в своей непостижимости и, сколько бы мы ни пытались объяснить

музыку, её, как и душу, объяснить нельзя, потому что для каждого она звучит по-разному. Каждый её воспринимает по-своему и открывает в ней то, в чем более всего в данный момент заинтересован. Вот поэтому-то музыка зависит от нашего настроения, а оно – от музыки. Так неразделима со своими берегами река. И если играет русский человек на каком-нибудь музыкальном инструменте для себя, то сразу ясно: весело ему или грустно, радостен он или опечален своей судьбою.

Размышляя таким образом, я выбрался на опушку и вместо ожидаемой деревни, увидел из-за маленьких густых елочек в десяти метрах перед собою один-единственный дом, построенный, вероятно, лет пять назад, потому что даже с восточной стороны у него не успели потемнеть желтые сосновые бревна и в пазах аккуратными валиками белел не осыпавшийся мох. Как раз в это время выплеснулось из-за поредевших облаков солнце и неестественным золотистым светом облило бывшую деревенскую улочку с ямами, обсыпанными битым кирпичом, яблони около них, задичавшие без хозяйского догляда, рябины на месте увезенных отсюда сараев и бань, не выкошенные гуменники и этот дом, огненно блеснувший шестью окнами на фасаде. В тени осталось только обращенное ко мне резное крыльцо в четыре ступени, на котором находился немолодой уже мужчина в майке и босой, зато с новою "хромкой" на коленях. В том, что гармонь была новой, сомневаться не приходилось: так ярко пестрела она цветастым мехом, переливалась оранжевой инкрустацией по зеленому фону. А вообще-то отделана она была очень безвкусно, аляповато, словно дешевая лубочная картинка, и если бы не её мягкий, звучный и сочный тембр, такую гармонь ни за что бы не стоило держать в доме.

Я бы дал мужчине лет пятьдесят, потому что его лицо с оттенком темной самоварной меди из-за постоянного пребывания на ветру и солнце было морщинистым, с глубокими складками на лбу и щеках. А выше лба розово

выделялась едва прикрытая волосами, нисколько не загоревшая плешина.

Мужчина играл "барыню", вернее, пытался сыграть, но совсем не по-нашему, не по-сибирски – с некоторой растянутостью, раздельностью, а со среднерусской переборчатой торопливостью, при которой у хорошего гармониста почти неуловимы движения пальцев и весь сам он – искрометный задор. Такого музыканта заслушаешься, при известных обстоятельствах не утерпишь, чтобы не пуститься в пляс. А вот мужчина играл неопытно, неумело, подряд сбивался то с одного, то с другого перебора, не успевая негнушимися крестьянскими пальцами за быстрым пассажем, перепутывая клавиши, и тогда гармошка то взвизгивала жалобным диссонансом, то вздыхала растянутым во всю длину мехом, то побряхтывала басовыми нотами.

В таких случаях мужчина недовольно встряхивал головой, хмурил кустистые, сросшиеся на переносице брови, поправлял на плече ремень и опять начинал сначала, поглядывая в какую-то неразличимую для меня книжку, которую пристроил на поставленный перед собой стул. Сам он сидел довольно-таки неудобно – на детском, окрашенном в бордовый цвет стульчике, и когда разжимал гармонь, то вместе с нею раздвигал и ноги. Левую он постоянно держал на цыпочках, покачивал темной, загрубевшей от ходьбы без обуви пяткой, а пальцами правой в такт "барыне" притопывал по натертому дресвой настилу крыльца.

Позади играющего висела форменная одежда лесника, из кармана которой торчала перегнутая пополам тетрадка, рядом на прилавке стояло два опрокинутых ведра, а под прилавком находилась старинная с выщербленным горлом корчага. У крылечка бродили с десятков кур, они рылись в земле, склевывали с досок мух, а пестрый петух, вытянув шею, косил выпуклым глазом на хозяина и недоуменно прислушивался к звукам гармонии.

Я выступил из елочек, перепрыгнул через полуистлев-

шее березовое бревно и мимо редкого прясла из наклонно укрепленных сучковатых жердей направился к гармонисту, не замечавшему меня до тех пор, пока я громко не поздоровался. Мужчина повернул ко мне сплошь покрытое мелкими каплями пота лицо, несколько секунд смотрел растерянно, потом почему-то проговорил:

- А?, - и у него изо рта выпала измусоленная папироса.

- Здравствуйте! – еще раз повторил я и опустил на нижнюю ступеньку корзину с грибами.

- Здравствуйте, здравствуйте! – тоже вроде бы повторил мужчина, вскочил со стульчика, обнимая гармонь, толкнулся в растерянности туда-сюда и поставил между ведрами на широкий прилавок. Затем он опять развернулся ко мне и улыбнулся так радостно, словно увидел родного брата.

- Чего же вы стоите внизу-то? Заходите в дом, гостем будете. У меня и самовар еще не остыл.

- Большое спасибо. От чая не откажусь. Приморился, бегая по лесу. И в горле пересохло, хоть из лужи пей.

- Из лужи нельзя. Какое питьё из лужи.

- Вы уж меня извините, - говорил я, вслед за хозяином входя в просторные сени. – Не хотелось мне вас отвлекать от вашего занятия, да не знаю, как попасть в Козино.

- Вон чего! – воскликнул мужчина и жестом пригласил меня к столу, на котором стояли никелированный самовар и два граненых стакана, комковой сахар в вазочке и маленькие щипчики около неё. – Садитесь, садитесь! Тотто, я гляжу: незнакомый человек и корзина с коровками. К нам редко люди теперь наезжают. Раньше, бывало, и зиму, и лето квартировали. То дроворубы, то из лесничества, то лопаточники.

- А кто же такие лопаточники?

- Да лопаты мастерили. Деревянные. Приедут из какой-нибудь организации, я им делянку осины отведу, вот они и тешут лопаты всю зиму.

- Как же они их тесали?

- Топорами. Осину срубают, раскалывают вдоль на плашки. А уж из этих плашек вытесывают. Лопаты легонькие, хорошие. Хоть хлеб в печь сажать, хоть зерно на току ворошить. За зиму столько щепы надерут – полгода избу отапливать можно. Так этих мужиков и звали: лопаточники да лопаточники.

Мужчина между тем налил в стакан горячего чаю, придвинул ко мне сахар.

- Чаевничайте. Сахару ложите. А если желаете, можно и по-нашему, вприкуску.

- Ах, хорошо! - похвалил я, попивая ароматный чаек.

- Хорошо! – согласился хозяин. – Уж кто-кто, а мы, волгари, кое-что в чаях понимаем. Недаром нас раньше так и дразнили: ивановские водохлёбы. Хлеба-то здесь родилось мало, а воды хватало. Может быть, поесть хотите? – спохватился он, глядя, с каким наслаждением я пью чай.

- Что, вы, что вы! – остановил я его. – Есть я не хочу. А за чай спасибо.

- Тогда еще стаканчик?

- Нет-нет. Натешился, даже пот прошиб.

- А то бы перекусили. Городских деликатесов у нас нет, но кое-что из огорода и домашних продуктов имеется. Время сейчас бедное: зарплату не выдают по несколько месяцев, приходится подножным кормом перебиваться. Ягоды, грибы, ну, и овощи, само собой разумеется. Да корову, овечек держим.

- Ещё раз благодарю, - я намеренно не стал поддерживать разговор о современных проблемах, зная, что скоро он не закончится.

- Как говорили в старину: хозяин – барин. И я за компанию прополоскал брюхо. А вы не торопитесь, отдохните. В Козино успеете. До него всего два километра. – Он отставил стаканы поближе к самовару. – Теперь и перекурить можно.

Мы вышли на крыльцо.

- Курите? – спросил он, усаживаясь на верхней сту-

пеньке и вытягивая ноги.

- Курю, - сказал я, устраиваясь ступенькой ниже.

- Тогда угощайтесь, - протянул он мне пачку "Волжских". – Вы к кому в Козино приехали?

- К Галочкиным.

- А-а, к тетке Анне. Знаю её, только давно не видел. Как она поживает? Бегаёт?

- Бегаёт, даже по ягоды и по грибы одна ходит.

- Да что вы! - неприятно изумился мужчина. – Живая старушка. А уж, чай, лет под восемьдесят ей. Я и мужа тетки Анны, Федора Васильевича помню. Тоже лесником был, охотником заядлым. И ко всему прочему на гармошке хорошо играл. А сами вы откуда?

Я сказал.

- Издалека прибыли. Чай, теперь накладно по гостям ездить?

- Ещё как накладно, - согласился я. – Пожалуй, в последний раз приезжаем. Конечно, если жизнь не изменится.

- Из города?

- Нет, из села.

- У вас сёла-то, чай, не чета нашим?

- Не чета, согласился я. – Сёла у нас большие, в несколько улиц.

- А у нас раньше деревень было, что грибов. Где поле, там и деревня строилась. Лес рядом, чего же не строить. Десяток-два домов, вот и село. Теперь их вовсе мало осталось. Считались неперспективными. Да эта перестройка людей задержала. Нет шишей, чтобы переехать. А при советской власти поголовно уезжали. Уж на что наше Горшково поболее других было, да вот один дом остался. А к зиме и его не станет, - грустно заключил он.

- Тоже уедете?

- Придется. Жене моей пятьдесят скоро: на пенсию по многодетности выйдет. Семерых как-никак взрастила. И я шестой десяток разменял. Поближе к детям переберемся. Жил бы здесь, кроме нас, кто-то ещё, я бы отсюда ни

за что не уехал. Жалко, да и боязно с насиженного гнезда срываться. И дом перевозить нужно. А мало ли в него трудов вложено?

Мужчина задумчиво затянулся дымом, выпустил две сизые струи из широких приподнятых ноздрей и стряхнул пепел за перила.

- Строили два года. Людей нанимали со стороны, сами день и ночь колотились. А как радовались, когда в новый дом перешли! Ребятишки наши как с ума посходили. То, бывало, не угомонишь, а в новом доме шагу ступить боятся, тихие, смиренные. Да и мы с женой потерялись: столько хлопот было и вдруг они с плеч долой. Чай, потом-то справились, привыкли. Вот и болит, отболеть не может.

Неожиданно из-за угла дома вывернулся шальной ветерок, закружил пушинки и щепочки, взъерошил перья на курицах, потом влетел на крыльцо и с жестяным звуком зашелестел за нашими спинами лощёной бумагой. Мужчина торопливо придержал книгу на стуле, затем взял её в руки, и я увидел, что это "Самоучитель игры на хроматической гармонии" Чернова.

- Давно на гармошке играете? - спросил я.

- Какое играю! - смутился он. - Два месяца, как гармонь купил. Блажь втемяшилась в стариковскую голову. Раньше-то у меня никак не получалось с гармонью. Детство было послевоенное, бедное. Молодость - тоже. А как женился, дети пошли, тогда и совсем не до гармонии. А сейчас всех детей к месту определили, одни с женой остались. Вот и порешили купить гармонь. Я к гармонии с малолетства пристрастный. Поросенка на рынке продали и купили у мужика в соседнем селе. Он покупал эту гармонь сыну, а тот в музыке ни в зуб ногой, - посмеялся мужчина. - А самоучитель я на центральной усадьбе в библиотеке взял. Теперь у нас в доме, когда хочешь, своя музыка. - И он посмотрел на меня ясно и просто.

- И как же дается ученье?

- Не спрашивайте! Легче по кубометру дров колоть. Бы-

вало, смотрю, как другие играют. Ну, думаю - до чего же просто. Нажимай на пуговички пальцами да меха растягивай. А сам в руки взял, ничего не ладится. Как будто вместо рук вилы пятирожковые. Еле-еле какую-нибудь песенку одолеешь. По слуху-то я легче подбираю, а в нотах путаюсь. Особенно дизезы да бемоли голову морочат.

Он помолчал, потом похлопал тяжелой жилистой ладонью по колену и заключил:

- Да уж как-нибудь и по нотам выучимся. Коли гармонь заимели, играть будем. Кое-что получается. Младший сын учится в техникуме, там, в ансамбле играет, на гитаре. Домой приедет, меня подзуживает: "Не выучиться тебе, папка!" В музыканты, дескать, с пяти лет принимают, а ты шестой десяток живешь. А я ему наперекор: выучусь, сынок! Я тоже с пяти лет гармонь люблю. Человек, если захочет, всему выучится. И дом рубить, и машиной управлять, и на гармошке играть. Верно говорю?

- Очень даже верно! - откликнулся я.

И тогда же во мне промелькнули какие-то свои мысли, которые я сразу не уловил, но уже понял, что мысли эти для меня важны, и на протяжении всего дальнейшего разговора я старался удержать то промелькнувшее в себе и не потерять его до поры, до времени.

- Вот я ему и говорю: к следующему воскресенью «барыню» по нотам играть буду. Что поздно за гармонь взялся - не беда. Беда, когда человек ничего не хочет, когда в табаке да в вине тонет. Когда ворует у своего ближнего, когда ему ничего не жаль, и ничто не дорого.

Мужчина сказал последние слова невеселым голосом. На лице его появилась непонятная кручина, и я, обеспокоенный такой переменной, спросил:

- Мне кажется, вы так неспроста говорите?

- Вы правы. Неспроста. Я лесником двадцать лет работаю. Много за эти годы людей перевидел. Косцы, рубщики, заготовители, шоферы, трактористы, горожане, туристы, охотники - круглый год вереницей люди разные, больше

хорошие, но попадались и плохие. Только в прежние времена это были цветочки, а вот в последние годы созрели ягоды. Лес приедут рубить – тяп-ляп, лишь бы план выполнить. Воровство пошло, не углядеть. По полям едут на машинах. Везде бутылок, банок накидают. Построил я для отдыха несколько навесов – испакостили, исписали разными словами. Вроде бы люди не для души живут, а повинность отбывают. Я уж не говорю о том, что везде обман, недовольство, злость. Меня больше беспокоит человеческое равнодушие. Вроде бы мы последние дни доживаем. Откуда же оно, это равнодушие взялось? Я послевоенные годы хорошо помню. Голодно было, трудно, работали с зари до зари, а на работу шли, как на праздник. С песнями, с шутками. Сёла стояли, как девушки на выданье, чистые, нарядные, веселые. А сейчас что? Строить в селах совсем перестали. Стоят одни развалюхи из прошлого века. И это от равнодушия. Может быть, не от нашего с вами, а более важных персон, только все равно от равнодушия. Вы согласны со мной?

- В какой-то мере – да.

- Почему в какой-то мере? Разве есть мера человеческому бездушию? Одним – всё, другим – ничего! Вот раздумаясь я так в одиночестве – хоть волком вой.

- Ну, выть, положим, не стоит. Переживать за все происходящее в стране можно, а выть ни к чему. Нашего воя никто не услышит, потому что сытый голодного не разумеет.

- Я и сам понимаю, что не разумеет, да здесь вот, в груди, свербит. Семьдесят лет жили мы при советской власти, старались воспитывать людей в коммунистической честности, в справедливости, а теперь видим: сколько же бесчестных людей, да и просто подлецов прикрывалось партийными билетами и высокими должностями. Просто диву даешься. Такие мысли меня одолевают, мил человек. Вина я не пью, только гармонию от них и спасаюсь. Заиграю, что умею, и на душе полегчает.

Долго мы ещё сидели с хозяином последнего дома на крыльчке и толковали о житье-бытье. Конечно же нас, простых людей, волновало одно и то же, поэтому разговор ладился до той поры, пока солнце не укололось о верхушки далеких елей. Только тогда я спохватился, что меня уже потеряли дома, и стал прощаться. Я не сказал хозяину, что тоже играю на гармошке, побоялся его смутить. Лесник вызвался меня проводить и шел рядом до бывшей околицы.

- Тетке Анне привет передавайте. Скажите, от Фролова, она знает. И в гости приходите, приятно с хорошим человеком побеседовать. Да и грибы у нас некому ломать. Приходите!

- Приду, - пообещал я.

- А на гармошке все-таки научусь играть. Может, и меня кто-то придет послушать. Жизнь-то пока не кончилась, мил человек! – прокричал он мне вслед и пошел обратно.

А я остановился и некоторое время смотрел на умного, заботливого человека с мозолистыми руками, которые наконец-то обняли желанную гармонию. И, глядя на него, окончательно осознал то, что появилось в моих мыслях во время нашего долгого разговора.

В молодости я много писал: стихи и прозу. Кое-что даже печатали. Умные люди говорили, что у меня есть к этому способности. Но я перестал писать, посчитав, что способностей нет, а потом пролетели лучшие для творчества годы. И только сейчас понял, что был не прав.

Никогда не поздно совершить то доброе, на что ты способен: напишешь ли ты книгу, полюбишь прекрасную женщину, построишь дом или научишься играть на гармонии. Никогда! На то ты и человек!



ДОБРОТА

Старый дом с обомшелой, позеленевшей с северной стороны крышей, за-метно осевший, обветренный, словно обтянутый серой облезшей замшей, одиноко ютился на краю села и почти до карниза тонул в сирени. Когда-то, ещё в недавние времена, около него находились другие дома, а теперь их снесли, и лишь он, без того невысокий, в сплошных зарослях, казался ещё ниже, как будто прятался от расположенного метрах в ста прямого порядка улицы, припадая к земле, чтобы скрыть за стеною кустарника свою дряхлость. Развалились вокруг него постройки для скота, покосились подгнившие столбики прясла, все заросло высокой крапивой и жирной лебедой, пришло в запустение. Видимо, хозяйева дома уехали из деревни и возвращаться не собирались. Но сам дом в то время, о котором идет рассказ, был обитаем: сирень вольно и густо росла в огороженном тальниковым тыном палисаднике, пробивалась даже за изгородь, а вот под окнами застекленной с двух сторон веранды её кто-то недавно и неумело вырубил. И не просто вырубил, а безжалостно уничтожил - торчали, как зубья перевернутой бороны, косо заостренные окомелья, переплетенные молодыми измочаленными побегам, а на них ещё не успели завянуть листья.

Это можно было назвать бездушием или даже другим, более подходящим словом, если бы на веранде не было алюминиевой раскладушки, на которой полулежала маленькая девочка под белой с голубыми каемками просты-

ней. Рядом с раскладушкой стоял старинный массивный стул, около него тумбочка, а на ней - литровая банка с водой, закрытая капроновой крышкой, игрушечная машина без колес, несколько детских потертых книжек и кукла-голышка в неумело сшитом цветастом платье без рукавов. На стуле - ножницы, тряпочки и юрок ниток с воткнутой в него иглой. Под раскладушкой на выцветшей дерюжке дремал котёнок, тощий и ершистый, но такой рыжий, что от него вроде бы исходило сияние. А может, так казалось оттого, что мимо раздвинутых ситцевых занавесок на колени девочке лилось лучами солнце, и она подставляла под теплый свет худенькие ручонки, то пронося их перед собою, то уводя вбок хрупкие, как соломка, пальцы.

По-видимому, девочка воображала себя на сцене, играла в балерину и когда поднимала ручонки вверх, то ее освещенные с тыльной стороны ладошки становились розовыми-розовыми, почти прозрачными, словно изваянными из розового фарфора. Это очень забавляло девочку, она повторяла движение вновь и вновь, и по складкам ярко освещенной простыни тоже скользили извивающиеся тени. По бледному, но красивому лицу, обрамленному вьющимися белокурыми волосами, блуждала странная, задумчивая улыбка, словно девочка отрешилась от всего земного, поднялась в небо, парила в нем вольной птицей, взмахивая хрупкими крылышками и замирая от страха и несказанного счастья. Такая улыбка бывает только на лице совершенно погруженного в себя ребенка, когда ему никто не мешает, когда он целиком занят своими мыслями, своей игрой, важной для него, занимательной, полностью увлекающей маленького человека. "Ля-ля-ля!" - тихонько импровизировала простенькую мелодию девочка, и от её движений так же тихонько поскрипывала пружи-нами раскладушка.

Но вскоре девочка перестала петь, подперла подбородок ладошками и стала грустно смотреть в окно, за полуразрушенную ограду, где щипали траву неуклюжие гу-

сенята. Беспокойный напыщенный их папаша горделиво похаживал около своего многочисленного семейства, клонил голову к земле, тянул длинную шею, топтался, переваливаясь с боку на бок, и гоготал сердито, недовольно, когда еще неоперившиеся птенцы перебежали с места на место, норовили выбраться на дорогу, чтобы поклевать камешков. Гусыня ласково скликала их и вела дальше по зеленой поляне, а гусак бдительно вышагивал позади, эдакий смешной толстяк с оранжевыми ногами.

Девочка покачалась на раскладушке, подражая гусю, даже вытянула шею и повертела головой, но гуси скрылись из виду, и она, привалившись плечом к окну, сидела так, навивая кудряшки волос на палец.

Сразу же за поляной чернело вспаханное паровое поле. А за ним темнел высокий сосновый бор, из которого узкой серой лентой выползала укатанная дорога. Она пересекала поле, подступаящее к самым ее обочинам, постепенно ширилась, протягиваясь к селу. А от леса по этой извилистой серой ленте, казалось, ползла светло-желтая, взблескивающая гладкой спинкой букашка. Девочка заинтересованно приподнялась, сцепила пальчики на затылке. Её чистые синие глаза широко раскрылись: в них вспыхнули две яркие искорки. А букашка подвигалась все ближе и ближе к селу, пока не превратилась в легковушку, оставляющую за собой длинный хвост пыли. Тогда девочка разочарованно вздохнула, искорки в ее глазах погасли, она опустила руки и смотрела на легковушку уже без прежнего интереса, хотя и с любопытством.

Машина приближалась, минуя пашню, покачивалась на выбоинах. Вот она выехала на край поляны. Гусак, низко опустив голову и шипя, выбежал навстречу, но легковушка поравнялась с домом и вдруг, подвернув к самому палисаднику, остановилась. Вышел незнакомый толстый и усатый дяденька, обошел вокруг машины, зачем-то попинал носком туфли запыленное колесо, осмотрелся и направился к дощатой, потрескавшейся от вре-

мени калитке. Он долго не мог нащупать изнутри вертушку, даже приподнялся на цыпочки, чтобы её увидеть. Наконец открыл и застучал каблуками по выложенной половинками кирпича дорожке. В окне он увидел девочку. Улыбнулся ей. Она торопливо поправила простыню, подтянула её повыше.

- Здравствуй, хозяйюшка! - войдя, ласково сказал незнакомец приятным, даже певучим голосом и опять весело улыбнулся девочке, и она тоже невольно заулыбалась. И смутилась от этого, опустила ресницы.

- Здравствуйте! - тихо, почти неслышно произнесла девочка, быстро взглянула на незнакомца и повторила чуть громче: - Здравствуйте!

- Что же ты спишь так долго, милая? Солнышко-то вон уж как высоко. Встань-ка, пожалуйста, да напои меня холодной водичкой, - добродушно укорив, попросил незнакомец и смешно дернул усом. - Страсть пить хочу, кажется, целое ведро выпью. Так напоишь, хозяйюшка, или кроме тебя ещё кто-то в доме есть?

- Нет, я одна, - по-прежнему несмело, но уже без улыбки ответила девочка. - Мама на ферме. А вода у нас на кухне в зеленом бачке. Там и ковшик. Проходите да пейте на здоровье. У меня в банке есть, - девочка указала на тумбочку, - да она степлилась, невкусная.

- Ага, - задумчиво проговорил дяденька, внимательно посмотрел на девочку, и с его полного лица тоже сошла заразительная улыбка. - Ага. Спасибо. Конечно же, я пойду на кухню и напьюсь сам. Кухня - это сюда?

Мужчина осторожно ступал по крашенным суриком половицам, словно боялся, что половицы не выдержат его тяжести. Девочка проводила его через веранду взглядом, а некоторое время спустя он довольно крякнул и похвалил из кухни:

- Ох, и замечательная же у вас вода! Лучше газировки. И холодная, даже зубы ломит.

- Мама её недавно из родника принесла, вот она и хо-

лодная, - отозвалась девочка, поглядывая на распахнутую кухонную дверь. - И в комнатах у нас прохладно.

- Прохладно, - утолив жажду, подтвердил появившийся из кухни гость. - Большое тебе спасибо, хозяйюшка! От верной смерти спасла, - опять рассмеялся он.

Девочка, глядя на его залучившееся морщинками лицо, тоже прыснула в кулачок, при этом её матовые щечки приподнялись, наполнились едва заметным румянцем, а пушистые волосы осыпались на них, оставив на виду лишь острый носик, открытые зубки да подбородок. Она посматривала на веселого дяденьку сквозь эту узкую щелку одним глазом.

- Так отчего ты до такой поры прохлаждаешься в постели, милая? Не пора ли тебе встать, почистить зубки, умыться да бежать на улицу к подружкам? А? - сказал незнакомец, подходя к ней.

Девочка прервала смех, как будто всхлипнула, выпрямилась, отбросила за плечи кольца волос и сказала:

- Я не хожу, дяденька. У меня ножки болят.

Видимо, эти слова она говорила уже много раз, прозвучали они по-детски откровенно, так обыденно и привычно для неё, что незнакомец вздрогнул: его лицо стало растерянным и огорченным. Но тотчас же он оправился от минутного замешательства и неожиданно для девочки попросил:

- А можно я немного посижу с тобой?

- Посидите! - обрадовалась девочка и ловко убрала со стула на тумбочку свои немногочисленные игрушки. Но куклу-голышку взяла к себе, положила бережно рядышком на подушку, словно боялась, что её отнимут. А дяденька немного отставил от раскладушки стул, присел на него, уперся сильными руками в колени и некоторое время молчал, смотрел на девочку, которая укладывала неуклюжую длинноносую куклу, сползавшую с покатою подушки.

- Ты любишь свою куклу? - спросил он.

- Да, - ответила девочка. - Мы с нею играем. Я ей, ког-

да мамы нет, книжки читаю, а она слушает. Правда, Оля? - обратилась девочка к кукле. - Она у меня разумница. И спим мы вместе.

- Да, верная у тебя подружка, - печально согласился дяденька.

- Мне мама скоро новую купит, - похвастала девочка, - балерину. Высокую, стройную, в кружевной юбочке. Барби называется. Она для меня танцевать будет.

- А-а, ты сама очень любишь танцы! - догадался дяденька.

- Люблю. Когда по телевизору танцы показывают, я все смотрю-смотрю, до полночи, мама даже заругается. Поздно, скажет, уже. Спать пора. Да и чего ты, скажет, понимаешь в балете? А я маму поцелую, уговорю и смотрю. Я все-все понимаю. И когда веселое танцуют, и когда грустное. Даже маме иногда объясняю. И куклу у неё прошу.

- Почему же до сих пор мама тебе её не купила? - расстроенно и вроде бы недовольно перебил дяденька.

- У нас денег не хватает, - просто пояснила девочка. - Мама меня все по больницам возила, не работала, а папе одному на нас не наработаться. Да еще недавно мы с мамой сюда переехали...

- А до этого вы где жили?

- У-у, - махнула рукой на окно девочка. - Далеко-далеко. У нас в городе хорошо: дома каменные, высокие. Под горой река Кама, пароходы плавают. Белые, а на них музыка играет. Папа мою кроватку поставит у окошка, я и смотрю на Каму, на пароходы. А здесь скучно, только дорога да поле. Сначала и совсем ничего не видно было, кругом сирень. Мама её позавчера вырубил...

Слушая её рассказ, незнакомец стал очень серьезным, покусывал губу и передвинулся со стулом поближе. Его немного выпуклые, влажные глаза смотрели на девочку с добротой и нескрываемым состраданием. Он убрал руки с колен, скрестил их на груди, но тотчас же опустил, положил одну на другую и нервно пожимал кисти, собирая

складками загорелую кожу.

- А зачем вы сюда переехали? - снова спросил он, потому что девочка замолчала и теребила простыню, не зная, что ещё сказать.

- Здесь доктор очень хороший живет. Он меня вылечит, чтобы ножки ходили, только подождать нужно. Больных у него много, а места в больнице нет. Меня там осматривали, сказали, что вылечат. Когда место освободится, меня туда сразу же вызовут. Вот мы с мамой и переехали сюда, в деревню. В городе-то квартир не найти, потому что нам платить нечем, а здесь нам вот этот домик дали. За то, чтобы мама на ферме работала. Ох, она устает как! - покачала головой девочка, жалея мать. - Только придет с фермы, сразу руки в горячей воде мочит. Ломит их у неё. Она у меня непривычная к такой работе. А как отойдут руки, опять со мной занимается. Писать и считать учит. Вот вылечат мне ножки, я в школу пойду, - размечталась девочка. - И в лагерь поеду. А потом на балерину стану учиться. У нас в городе такой кружок есть, где ребята учатся танцевать. А мама говорит, что я талантливая. Буквы разбирать сразу научилась и предложения пишу.

- А какие книги ты читать любишь?

- Я сама-то еще плохо читаю, - призналась с сожалением девочка. - По складам. Мама мне приносит из библиотеки "Веселые картинки". Старые, правда. Новые-то сейчас не выписывают. Там про все написано: и про кота Леопольда, и про Петю-космонавта, и про Дюймовочку. А я больше люблю, когда мама читает про волшебников. Только про добрых. Которые злые - я не люблю. А добрые - они все доброе делают, они такие старенькие и всем помогают. Правда ведь?

- Правда. Добрые волшебники помогают всем, но тоже только добрым и хорошим людям. Они приходят ночью...

- Разве они по-настоящему есть? Разве не только в сказках? - нетерпеливо прервала его речь девочка и вся подалась к нему, ожидая от него чуда.

- А как же! - наморщив переносицу, серьезно удивился ее вопросу приезжий. - Они приходят ночью, когда все добрые люди спят, когда спят и такие хорошие девочки, как ты. Они появляются незаметно, тихо, чтобы никого не встревожить. Добрые волшебники всегда знают, кто чего от них ждет, кому чем помочь, и помогают. А ты, наверное, тоже хочешь, чтобы к тебе пришел добрый волшебник?

Девочка ответила не сразу, подумала: не подшучивает ли гость над нею? Но тот смотрел с улыбкой, с хитринкой все понимающего человека, и она застыдилась, отвернулась, скрывая свое признание, может быть, самое сокровенное, тайное и, конечно же, по её разумению, непонятное другим. А дяденька, глядя на неё, спрятал едва заметную усмешку в свои коротко подстриженные усы, осторожно прикоснулся к её острому плечу.

- Ну, что ты, - тихо успокоил он. - Не стыдись своего желания. Даже мне, взрослому человеку, и то часто хочется, чтобы пришел добрый волшебник и помог в трудную минуту.

- Так почему же он не приходит? - с дрожью в голосе спросила девочка, все так же, не поворачивая к нему лица.

- Почему? Да потому, что людей на земле много, а добрых волшебников мало. Вот они ко всем и не успевают. К тому же они старенькие. Быстро ходить не могут. Но ты не отчаивайся, и я не буду: они и к нам с тобой придут.

- Даже, может, сегодня ночью? - снова осмелела и повернулась к собеседнику девочка.

- Да, может, и сегодня ночью исполнятся наши с тобой желания.

- А вы разве тоже болеете? - подняла глаза девочка и осмотрела его с головы до ног.

- Я? Нет, - смешался он от её неожиданного вопроса. - Да я и не тороплю, пусть волшебники придут ко мне в другую, самую последнюю очередь.

- А у меня завтра день рождения, - со вздохом сообщила девочка. - Жалко только, что мама в город не может

съездить, куклу мне купить.

- Очень жаль, - опять погрузился от её слов дяденька.

- Как же так?

- Ничего, - успокоила его и себя девочка. - Она в город в другой раз съездит. И куклу мне купит, и платье новое, когда деньги начнут выдавать.

Дяденька посмотрел в окно, потом на свои часы, поднялся и погладил девочку по волосам.

- Ну, прощай, милая. Спасибо тебе за воду, за беседу. Хотел было кого-нибудь расспросить о прямой дороге на Дубровное, а ты, как я понимаю, про неё не знаешь. Конечно же, наш городской доктор вылечит тебя, ты будешь учиться в школе, танцевать на сцене и тебя будут показывать по телевидению. Прощай, не отчаивайся и всегда верь в добрых волшебников. Они скорее приходят к тем, кто в них очень и очень верит.

У дяденьки странно сузились глаза, дрогнул голос, поэтому он больше ничего не сказал, а быстро повернулся, вынимая из кармана носовой платок, и вышел. Прошагал по двору, помахал рукой из-за калитки, потом сел в машину, и она скрылась за кустами густой сирени.

Некоторое время доносился звук мотора, но и он стих. Девочка устало откинулась на скомканную подушку, глубоко вздохнула и долго лежала без движения, приопустив веки. Из-под раскладушки вылез рыжий котенок, потянулся, царапнул когтями пол, запрыгнул на раскладушку, взобрался девочке на живот, улегся, подвернув под себя лапы, тоже прижмурился и едва слышно замурлыкал, покачиваясь при каждом вздохе своей маленькой хозяйки.

А на следующее утро девочка проснулась перед самым восходом солнца, полежала с закрытыми глазами, но так было неинтересно. Она открыла глаза, повернулась на спину и в неустойчивом, мерцающем свете приходящего дня увидела уже ставшую ей привычной деревенскую горницу с низким, разрисованным диковинными цветами потолком, чистыми, но пустыми стенами, телевизор на ножках в переднем

углу, деревянный стол без скатерти и ещё одну раскладушку, на которой спала её мама. Она спала на боку, а её левая рука свесилась с постели и едва не касалась пола, застланного двумя серыми в черную крапинку дорожками.

Сначала девочка ничего не слышала: в ушах её серебряными колокольчиками звенела предутренняя хрупкая тишина, но через минуту колокольчики отдалились, и стало слышно, как глубоко и мерно дышит мать, как четко отсчитывает секунды будильник и как чирикают на улице продрогшие от ночной сырости воробьи. Где-то далеко загремел трактор, потом мимо проехала грузовая машина, и от ее тяжести задребезжали оконные стекла.

Девочка знала, что матери вставать ещё рано, и старалась не разбудить её, не шевелилась, а внимательно следила, как светлеет в комнате, как сумрак заползает за телевизор, под раскладушки, под стол, как яснее обозначаются оттенки цветов на потолке и трещинки на известковой побелке. За окнами всходило солнышко: на белом фоне появились два розовых пятна, они становились все ярче и ярче, обрисовывая на стене сеткой тюлевую занавеску и верхушки замершей в безветрии сирени. Обычно на ночь мама открывала створку, так было прохладнее, поэтому девочка приподнялась, отпахнула штору, чтобы посмотреть на восходящее красное солнце, и вдруг вскрикнула так громко, что сразу же разбудила мать.

Та в тот же миг села на раскладушке, руками убрала с лица волосы, а ногами никак не могла попасть в шлепанцы, и вид у нее был испуганный и жалкий.

- Ты чего, доченька, ты чего? - спрашивала мать и облизывала обметанные жаром губы.

- Мама, мамочка! - закричала, услышав её голос, девочка. - Мамочка, иди сюда. Посмотри!

Женщина, так и не нашарив шлепанцев, вскочила в страшном волнении, подбежала к дочери и замерла около неё, обессиленная пережитым в эти минуты страхом, пораженная увиденным, прижав к левой стороне груди обе руки.

На подоконнике лежали два целлофановых пакета, перевязанные алыми, голубыми, зелеными лентами, и капельки росы сверкали на них, словно сказочные бриллианты. Девочка возбужденно вцепилась в подоконник, не смела взять пакеты, лишь смотрела на них да повторяла одно и то же:

- Mamочka! Mamочka! Это они! Это они! Это они!

- Кто они? - наконец-то опомнилась мать. - Кто они, доченька?

- Mamочka! - повернулась к ней дочка, и глаза ее, наполненные прозрачной влагой, цвели, как летние незабудки. - Это они приходили! Это добрые волшебники, мама!

Мать какое-то время молчала, стояла неподвижно, затем под пристальным ожидающим взглядом дочери взяла один из пакетов, развязала ленты - их сразу же схватила девочка, сняла со свертка целлофан, развернула хрустящую оберточную бумагу, и в руках у нее оказалась тоненькая стройная кукла в коротеньком платьице из прозрачного капрона. Девочка так и просияла, осторожно взяла куклу у матери и, захлебнувшись радостью, ничего не могла сказать, только всхлипывала, не то плача, не то смеясь, да прижимала к себе игрушку. Мать вскрыла второй пакет и вынула оттуда нарядное платье с двумя кармашками, по которым навстречу друг другу шли цветные вышитые котятки. А к платью булавкой была приколоты открытка с розами. Девочка увидела и котят, и розы и почему-то шепотом попросила:

- Mamочka, прочитай!

- "Дорогая маленькая девочка, - читала ей мать. - Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе в этот радостный летний день большого-большого счастья. Пусть сбудутся все твои мечты, пусть исполнятся все твои желания. Через несколько дней тебя вызовут в больницу, и наш чудесный доктор вылечит твои ножки. Ты будешь бегать, как и другие девочки, будешь танцевать, как настоящая балерина. Я приходил, чтобы сказать тебе об

этом, но ты уже спала, а я не решился тебя разбудить. Оставляю подарки к твоему дню рождения и уходу. Всего самого прекрасного тебе и твоей замечательной маме. До следующей встречи! Твой добрый волшебник".

Девочка с приоткрытым ртом слушала маму, положив на колени подаренные платье и куклу. А у её матери вдруг задрожали губы, она закрыла ладонями лицо и заплакала. Девочка потянула мать за локоть, чтобы успокоить, но и у самой по щекам тоже потекли крупные слезы.

- Мама, милая! Ну, что же ты плачешь? - спрашивала сквозь всхлипывания дочка.

- Не знаю, доченька. Не хочу плакать, а слезы сами текут. От радости, солнышко ты мое.

- И я ... от радости, я же тебе говорила. Вот и ... пришел к нам добрый волшебник.

- Да, доченька, да, хорошая ты моя. Это приходил очень добрый волшебник. Жаль только, что мы с тобой в то время спали, - говорила, глядя её по головке, мать, а сама думала о незнакомом дяденьке, о котором вчера ей рассказывала дочь, и обе не могли сдержать слез, невольно катившихся из глаз в это солнечное и счастливое раннее утро.



ДЕТИ ЖДАЛИ МАМУ

Солнце круто скатывалось за далекий гребнистый лес и двумя снопами лучей, густо перевитых мерцающими пылинками, освещало давно небеленые стены квадратной комнаты. На кровати скомканные подушки и ватное одеяло без пододеяльника, стол с невытой после еды посудой и бутылкой из-под дешевого плодово-ягодного вина. Внутри бутылки взбиралась вверх одуревшая от алкоголя муха, влезала почти до половины пути, но падала на дно, шевеля лапками, и после ее попыток на стенках бутылки оставались прерывистые дорожки, с которыми многократно увеличенная тень посуды паутинисто отпечатывалась во всю дверь, расположенную против окон. Около двери в простенке стоял настешь распахнутый шифоньер с немудреной одеждой, рядом находился вытертый диван, а в переднем углу покрытая вылинявшей салфеткой тумбочка, на которой что-то непонятное хрипел динамик.

С трудом можно было поверить, что в этой неказистой, неуютной да и совсем вроде бы заброшенной комнате, с её убогой обстановкой могут обитать люди, если бы не двое ребятшек, играющих на выкрашенном темно-коричневой краской полу.

Лет шести девочка, у которой распушились тоненькие косички и до трусиков заголились худые ноги, шустро ползала на четвереньках вокруг неприбранного стола, а на ее спине сидел плотно сбитый карапуз и помахивал, словно саблей, обломком палки. Мальчик то и дело сползал со спины и поэтому цепко хватался за платье своей сест-

ренки, отчего та останавливалась, поворачивала к нему своё веснушчатое лицо и косила синими глазенками.

- Да не тяни ты меня за ворот-то! Тянешь-тянешь, лихотит даже.

- Севелись! - покрикивал на строптивую «лошадку» трехлетний конник и рубил саблей воздух, завихривая пылинки.

Девочка встряхивала головой, взбрыкивала, будто хотела сбросить седока, и опять начинала стучать коленками от стола до порога, потом обратно.

На крутом повороте лихой наездник не удержался, упал, но поднялся, догнал девочку и лёг ей на спину животом. Его ноги в грязных колготках тащились по полу, колготки вытягивались, соскальзывали с ног и тянулись по доскам, неестественно удлиняя его тело.

Наконец «лошадка» уморилась и растянулась на полу, загнанно дыша.

- Фу! Тяжелый же ты, Андрюшка! Прямо центнер какой-то, - сказала девочка, вытирая о платье испачканные ладошки.

- Давай иссо! - попросил мальчик, так и лёжа поперек девочки.

- Слезь, - начала подниматься та. - Видишь, я вся вспотевшая. Даже нос мокрый. Давай лучше в машину играть.

- А в лошадку?

- В лошадку я наигралась. И на лошадках сейчас не ездют. Только дед Пахом воду возит. А ездют на машинах. Давай в машину. У нас будут «Жигули». Ну, будто мы их купили понарошку.

- «Зигули»? - переспросил мальчик.

- Ага. Как у дяди Пети. Красная-красная. Он меня один раз катал, - тараторила девочка, составляя друг за другом зеленые, видимо, недавно покрашенные стулья. - Быстро-быстро. Знаешь, так всё мелькает: столбы мелькают, дома. Даже голова кружится. Ну, вот, - посадила она мальчика на «сиденье». - Поехали!

Девочка уселась сзади, а мальчик обеими руками выс-

тавил вперед палку, надулся и зафырчал, подражая работающему мотору.

- Фр-фр! - разносилось по комнате. - Би-бип! Я тебя в голод повезу, Кать.

- Вези, - согласилась девочка. - В городе дома большие-большие. И мороженки продают. Стой, стой! - закричала она. - Огурцы-то да редиску забыла. Я, как тетка Дарья, на базар поеду. Городских облапошивать. Денег на торгую целый гомонюк. Мороженку тебе за подвоз куплю.

- Две.

- И две можно. Деньги-то куда нам девать?

Девочка прыгнула со стула и начала поводить руками, будто она и впрямь собирала выдуманные овощи в невидимые корзины.

- Быстлей! - поторопил мальчик. - Голючего мало.

- Подожди-и, - нараспев проговорила девочка, даже голосом подражая тетке Дарье. - Погодь, касатик! Я сейчас управлюсь.

- Би-бип! - прозвучал предупреждающий сигнал. - Би-бип!

- Бегу, бегу, сокол ясный, - отозвалась девочка, взбираясь на стул. - Вот и, слава Богу, успела я. Упарилась, как торопилась.

- Фр-фр! - покатила в город машина.

Девочка обмахивалась рукой, а мальчик рулил палкой, двигал ногой, нажимая воображаемые педали, и его щеки от натуги наливались морковным соком.

- Тормози! - вдруг приказала девочка. - А то и базар прокочишь. Или в аварию попадешь. Ишь, лихач нашелся.

Мальчик обернулся к ней, перестал фырчать, но палки не опустил. Девочка протягивала руки в обе стороны - это она продавала огурцы и редиску. Потом отошла к шифоньеру и попросила:

- Дай-ка нам, красавица, пять мороженок. Да самых сладких. Только в стаканчиках, а то Андрюшка у нас неряшливый, живо всю рубаху обкапает. Вот, - вернулась она к мальчику и протянула пустую руку, - тебе две мороженки, а мне три...

- Я тоже хочу тли, - набычился мальчик.

- Я постарше тебя, - сказала назидательно девочка. - Ты сам просил две мороженки, а теперь жадничаешь. Мал ещё указывать старшим.

- Я тогда иглать не буду, - раскапризничался Андрюшка, ушел к тумбочке и стал крутить у динамика ручку.

- ... посеяно два миллиона гектаров яровых! - неожиданно испугав детей, прокричал динамик. Андрюшка вздрогнул, отдернул руку, но диктор уже смолк, и динамик снова наполнился невнятным шумом.

- Не балуй! - заругалась на брата девочка. - То капризишься, то лезешь в каждую дырку. Вот нахлопаю.

- Я тебе нахлопаю, - посмотрел на неё исподлобья мальчик.

- А я буду играть в магазин, - поддразнила сестренка. - Счас газеток нарву. Это у меня будут деньги. - Она ловко свернула в трубочку обрывок газеты, разгладила его и разорвала на полоски. Мальчик хмуро следил за нею и ковырял в носу.

- Так, - стала считать девочка и складывать на стул бумажки. - Раз, два, три, восемь, двенадцать. О, сколько у меня денег! Даже больше, чем наша мамка получит. Миллион сто. Магазин, магазин, - запела она тоненько, нет-нет да и поглядывая на брата.

А он всё ближе да ближе подвигался к ней, но молчал, хоть и не сводил глаз с бумажных полосок.

- Лентов себе куплю, - заманивала его сестренка. - Игрушек. Много-много.

- А сахалу? - спросил мальчик.

- И сахару, и конфет шоколадных, и вафлей, - пообещала девочка. - Полную сумку насыплю.

- А мне дас?

- Чего давать-то? Бери деньги да сам покупай, а я торговать буду.

Девочка подала мальчику нарванные бумажки, сама отбежала в угол и загородилась стулом, а братишка по-

дошел к ней развальчиво, неторопливо.

- Чево вам продать, молодой человек? - кокетливо подбоченилась продавщица.

- Сахалу, - сказал мальчик. - И вина.

- Это ты чего ещё выдумал? - возмутилась девочка. - Тебе вино пить нельзя, ты не взрослый, как наша мамка. Вино пить будешь, заболеешь и умрешь. Ишь чего ему захотелось! На вот сахару да иди домой, пьяница несчастный. Я всё с мамкой пьяной вожусь, да ещё с тобой возиться буду! От сахару-то польза, а от вина только голова болит.

- А валенья?

- Покупай и варенья. Мне что ли жалко? Плати денежки и варенья дам.

Несмышленный покупатель послунил палец и, выпятив губу, стал вытаскивать ещё одну бумажку, но так крепко зажал их в кулачке, что не смог вытащить, только оторвал половину.

- Ну, какой ты транжира! - воскликнула девочка. - Деньги рвешь. Верно, калымщик какой-нибудь? На заработки к нам приехал, касатик?

- На залаботки, - согласился мальчик и уронил бумажки. Они покружились и упятели пол.

- Увалень ты, Андрюшка! - укорила его девочка. - Всё-то у тебя из рук валится: то стакан раскокаешь, то деньги рассыплешь. Правда, мамка говорит - пахорукий ты у нас.

- Сама ты пахолукая, - буркнул мальчик, опустился на корточки и принялся подбирать бумажки, широко и неуклюже переставляя ноги.

- Я-то ловкая, - похвалилась девочка, помогая брату. - Меня даже Алла Федоровна, заведующая детсадиком, хвалила. Я и по лесенке лучше всех лазию и бегаю, прямо как вылитая спортсменка. Всех девчонок обгоняю.

- А я сильный, - не уступал ей мальчик. - Я Кольку сболол.

- Какого Кольку?

- Кольку ... в яслях...

- А-а, это Иванова-то? Они, Ивановы-то, все кусачие. Меня ихняя Нинка за палец укусила. А я ей как дала по морде, как дала! Меня Вера Ивановна сразу в угол поставила. Хулиганка ты, говорит, вся в мать. Пусть и хулиганка, а Нинке Ивановой никогда не поддамся. Я мамке про это рассказала, а она говорит - правильно, бей их, толстомордых. Теперь, если ещё Нинка подойдет, я ей как поддам, чтобы никто не видел. Сразу заревет. На вот, да не роняй, - протянула она брату подобранные бумажки.

- Не улоню, - пообещал тот, подтягивая сползшие колготки.

А пока дети так разговаривали, закатилось солнце. Сначала перекрещенные четырехугольники, высвеченные сквозь рамы солнцем, передвинулись к потолку, потом из белых превратились в желтые. Они постепенно бледнели, как бы впитывались в известку, но желтого цвета не меняли, хотя желтизна зари постепенно сменилась розовой краской. А розовая краска загустела, стала малиновой с фиолетовым отливом. Этот малиновый отсвет попал на свисавшую с потолка лампочку, и она вспыхнула маленьким игрушечным солнцем. Его первой увидела девочка - её глазки расширились от удивления, она заулыбалась, так обрадовалась удивительному превращению лампочки. Перестал вертеться и мальчик, тоже поднял лицо, потянулся ручонками и требовательно попросил:

- Дай!

Но сестра его не услышала, она смотрела, набок наклонив голову, наморщив лоб, стояла задумчивая, сосредоточенная по-взрослому. Поэтому мальчик дернул её за платье и потребовал:

- Дай! Дай иглушку.

- Это не игрушка, - едва вырвалась из сказочного оцепенения Катя. - Это лампочка. Она у нас перегоретая. Вчера вечером перегорела, когда мамка ужинала и вино пила. Ты спал уже. А я видела. Лампочка как пыхнула, даже глазам больно стало. И погасла. Мамка ругалась,

ух, была какая сердитая. Я под руку попала, так меня шлепнула. А потом говорит: «Да черт с ней! Я, говорит, завтра деньги получу, новую куплю».

- А где мамка?

- Мамка-то? Мамка-то на работе. А, может, деньги получать ушла.

- Сколо она придет?

- Конечно, скоро. Может, она в магазине уже. Мне куклу купит. Такую всю кудрявую, - показала около своих волос девочка. - У неё щечки красные, платице в горошках, а на ногах туфельки с бантиками. Мамка мне обещала, когда её в совет вызывали и она зареванная домой пришла. Говорит, ну его, это вино к чертям собачьим! Я, говорит, тоже человек. Вот получу деньги, одену вас с Андрюшкой с иголочки, тебе куклу самую лучшую куплю, Андрюшке машину. Сама оденусь...

- А сахалу? - перебил ее мальчик.

- Да что ты все сахару да сахару? Дался тебе сахар. Давай лучше в магазин играть.

- Я хочу сахалу, - снова заупрямился мальчик. - Пусть мамка сахалу купит.

- Да купит-купит! - успокоила его девочка. - Мамка нам всего накупит вкусного-вкусного-превкусного.

- Я исть хочу! - вдруг заявил мальчик, натолкнутый её словами на эту мысль.

- Ну вот, - растерянно и плаксиво протянула девочка, - ещё не чище! То сахару ему понадобилось, то исть. Чем я тебя кормить-то буду, когда мамки нет?

- Дай хлебца.

- Прямо привереда ты у нас, Андрюшка! - в сердцах прикрикнула девочка, но все же пошла на кухню и принесла оттуда верхнюю корку, отрезанную от магазинной булки. На корке виднелись следы зубов, видимо, сестренка и сама не утерпела, откусила разок-другой. А Андрюшка жадно схватил его и тоже вцепился в подгоревший кусок своими слитыми в плотный ряд зубами.

- Играть-то не будешь, что ли? - спросила с надеждой девочка.

- Не-а, - ответил мальчик с набитым ртом и присел, привалился спиной к круглой печке.

- Никогда-то с тобой путем не поиграешь, - рассердилась она, забралась на диван и стала молча смотреть в окно, за которым сгущался вечер.

В комнате становилось все сумрачнее и сумрачнее: сперва перестали различаться щели между половых досок, потом ножки стола и стульев, через некоторое время поблекли цветочки на ситцевом платье девочки и, наконец, в комнату вползли сумерки, размазав очертания находившихся в ней предметов.

Мальчик у печки дожевал хлеб и полез на кровать, отчего та уныло скрипнула продавленной сеткой. Девочка обернулась на этот скрип и строго сказала:

- Сними колготки-то, а то все одеяло перевозишь.

Она подошла к мальчику, помогла ему снять одежду, потом разделась сама, и они улеглись рядышком под ватное одеяло.

- Вот горел бы свет, - мечтательно произнесла девочка, - мы бы с тобой в клетку поиграли.

Мальчик ей не ответил, зато динамик опять ожил и запел громко, тоскливо:

- Поговори со мною, ма-а-ма

О чем-нибудь поговори. До звезд...

- и смолк, заставив тяжело и горько вздохнуть уже невидимую в темноте девочку.

- И радиво не поет, и мамки чего-то долго нету, - печально прошептала она.

- А где мамка? - зашевелился под одеялом Андрюшка.

- Да не дрягайся ты! - тоже зашевелилась девочка. - Я что ли знаю, где твоя мамка! Сказывала: «Деньги получу, куклу куплю и приду пораньше». А самой нет и нет.

- А сахалу купит?

- Ну чё ты ко мне привязался со своим сахаром? - по-

чти собралась плакать девочка. - И так брюхо, как барабан, и всё-то ты голодный, всё голодный. Спи уж лучше, не выводи меня из терпения.

Дети долго молчали, ворочались на скрипучей кровати. Мальчик шумно зевнул и ногтями поскреб голову, почесалась и девочка, поправила подушку, притихла, но ненадолго, опять завозилась, потом спросила, не утерпев:

- Андрюш, ты спишь?

- Не-а, - ответил мальчик сонным голосом. - Я мамку зду.

- И я жду, - примирилась девочка. - Мамка-то у нас хорошая. Только денег ей редко дают на работе. Все-то на нас не хватает, все не хватает. А то бы она нам всего-превсего накупила. Игрушек всяких, кукол хорошеньких, ещё койку игрушечную купила бы да посуды игрушечной.

- А сахалу?

- И сахару бы тебе купила целый миллион килограмм. А со мной сёдня тетя одна разговаривала, - похвасталась девочка. - Красивая - красивая, с погонями и значок у неё красивый-красивый. Она меня все про мамку спрашивала да в детский дом звала. Это такой дом большущий, как в городе. Там ребятишки маленькие живут. А игрушек там сколько! Прямо везде игрушки: на полу, на столах, на стульях. Все игрушками завалено, даже больше, чем в садике. А кукол, кукол сколько-о! - радостно протянула она. - Прямо не знаю, сколько много. Все там есть. Это для таких ребятишек, у которых пап и мам нету. Только я с тетей не поехала. Я с мамкой хочу. Как она без меня-то будет? А игрушек нам и мамка накупит. Вот придет да и принесёт мне куклу. А я с ней спать на диване лягу. Обниму её крепко-крепко. И завтра в садик со своей куклой пойду... Андрюш, а ты спишь уже? - тревожно приподнялась она.

Но Андрюшка не ответил: он и впрямь спал, дышал мерно и в носу его что-то тихонько-тихонько булькало. Девочка разочарованно вздохнула, перевернулась на бок и тоже затихла... Разоспавшись, она неожиданно засмея-

лась, ее дыхание прервалось: наверное, она видела во сне столь желанную и недоступную ей куклу. Девочка засмеялась ещё раз, распрямила руку и коснулась ею мальчика. Он шевельнулся, раскинулся от тепла и сладко почмокал, так сладко, словно ел тающий во рту сахар.

... И далеко за полночь пришла неизвестно откуда их мать. Она слепо и долго шаршилась на крыльце, шарила по двери, не находя ручки. Нашла, рванула дверь на себя и чуть не опрокинулась от этого резкого движения. Выпрямилась, оперлась о косяк нетвердой рукой и несколько минут стояла, то, подаваясь вперед, то, откидываясь обратно, долго качала головой, как будто силилась вспомнить что-то очень важное и не могла преодолеть навязчивого дурмана.

Потом перешагнула через порог, притворила дверь и едва слышно, сиплым, потерянным голосом позвала:

- Кать!

Её зов прошелестел в пустой кухне, словно лист сминаемой бумаги, прошелестел и замер без ответа в пустых стенах. Тогда мать обречено шагнула вперед, но её обесилленные ноги подкосились, и она медленно, безвольно рухнула на пол. Она попыталась встать, но ей это не удалось, слабо приподняла голову, непонятно что пробормотала и успокоилась.

А за тонкой перегородкой спали её дети. Дочь свернулась калачиком, подтянув к подбородку испачканные колени, а сын разметался поперек кровати. Они спали, и, может быть, им продолжали сниться игрушки и сладости, всегда такие желанные в детстве.

Кто знает!?



НЕНАСТНОЙ НОЧЬЮ

Немногие, даже самые страстные и самые неуёмные охотники в наше время увлекаются стрельбой зайцев «в узерку». Сейчас на охоту больше едут на мотоциклах, на «Жигулях», а то и на государственных легковых и грузовых машинах. Моторизованный век обленивил даже охотников: куда легче попасть в заветные уголья на колесах, чем на своих двоих. Что же касается непосредственного, животворного и очищающего соприкосновения с природой - того самого главного, что и породило всю мудрую эстетику русской охоты, о том постепенно забывают и все сводится к одному, чтобы поскорее приехать, взять много или мало, уехать так же быстро, а там хоть трава не расти. Ясно, что настоящие, преданные своей страсти охотники не перевелись: для них добыча - дело желательное, но десятое, другие же это считают самоцелью, а третьи, которые бессердечнее и жаднее, и вовсе пакостят: охотятся из-под фар, гоняются за ослепленной живностью по опушкам, по озимям, стреляют с подъезда тетеревов, серых доверчивых куропаток, от этого редких в наших зауральских лесостепных местах. И в иную осень так напугают их, что птицы снимаются, за версту увидев машину, да и пешего человека.

Конечно же, для таких вот «выездов» выбираются погожие дни с накатанными проездами, с малоснежьем, хоть и отличная машина «Жигули» да не всегда и не везде на ней проберёшься. А для успешной и наиболее интересной охоты с подхода нужна обязательно долгая мокрая

осень, когда сутками напролет бусит мелкий, как маковые зёрнышки, дождь, когда безморозно и на пашенных дорогах невылазно, когда набухает влагой истощенная летней жарой земля и покрываются бурым пятнистым налетом плесени опавшие листья. Они в такую погоду не шумят, далеко отпугивая чуткого зверя, сминаются мягко, с легким всхлипываньем, потому что из них, как из губки, выжимается холодная, пахнувшая застойной прелью вода.

В лесу всё влажно: ошелушенные осенними ветрами березы, с измочаленной берестой, посиневшие от долгой прохлады осины, темные, зачервивевшие от влаги пни, поникшая и помертвевшая трава - все унылое без летней разноцветности и теплоты, блёклое, посеревшее под серым предзимним небом. Оттуда, не переставая, сыплется и сыплется надоедливый бусенец, скапливается на голых сучьях; не слышно самого, почти невидимого дождя, только капают с ветвей капли, будто деревья оплакивают минувшее благодатное лето. Падают капли, неторопливо и беспрестанно пощелкивая по слою пошевеливающейся от их ударов листвы.

В ненастном лесу кажется, что замерла вся жизнь: не посвистывают спрятавшиеся в укромных укрытиях синицы, притаились на полянах рядом с травянистыми кочками косачи, даже сороки и те где-то скрылись, не перепархивают следом, не тарашат любопытных бусинок-глаз и не злят стрекотаньем, подергивая хвостами. Из ненастного леса и зайцы выходят на опушки или в поля - выгоняет линных, почти побелевших косых постоянная муторная капель, не дает спокойно укрываться у сломков вершин, в глухих лесистых оврагах, в зарослях урём, а то и в ямке, над которой торчит кустиком дикоростник. Теперь зайцы затаиваются где-либо на открытых местах, лежат плотно, близко подпускают и лишь из-под самых ног стремительно бросаются наутек. Перелинявшие зайцы далеко видны - и если охотник отыскивает таких вот лежебок, замечает их и старается подойти к ним на выстрел - такая охота и назы-

вается охотой «в узерку». Она по сути своей малодобычлива, да и более одного зайца на себе не унесёшь, потому что заяц - не какая-нибудь утка, а ты в поисках его отмахал по слякотному разбегу десяток километров.

В такой вот бесцветный и смутный, уже клонившийся к вечеру день от Зареченских колков напрямиком через поле по грязно-жёлтой стерне тащился, едва выдёргивая ноги из рассолодевшей земли, одинокий охотник. Его короткая брезентовая куртка при каждом движении издавала неприятный скребущий звук, мокрые фланелевые брюки липли к острым коленям, низкие резиновые сапоги были облеплены перемешанной с соломой грязью, которая всё налипала и налипала на них, расплзаясь навесистыми лепёшками, отчего охотник то взлягивал поочерёдно ногами, то обтапывал самого себя, стараясь хоть ненадолго очистить ставшую необыкновенно неуклюжей обувь. Иногда он замученно наклонялся, отковыривал грязь кривой палочкой, которую прихватил из леса, а когда распрямлялся, то капюшон куртки надвигался ему на глаза. Охотник осторожно поднимал его кончиками грязных пальцев, подолгу и внимательно смотрел по сторонам, словно отыскивая какую-то, ему лишь известную приметку, но не находил, растерянно мигал, стирал с густых бровей воду и снова тяжело шел, подаваясь к неясно проступающему сквозь морось лесу. На ходу он поправлял связанного за лапы ремнем и перекинутого за спину зайца, вскидывал то и дело сползающее с плеча ружьё; и его одинокая, обессиленная фигура казалась нелепой среди безмолвных пустых просторов. Порой охотник задерживался для того, чтобы передохнуть, снимал с плеча ружьё, устанавливал его на носок сапога прикладом, опирался о ствол и так в наклон простаивал несколько минут, осматриваясь и давая отдых мышцам. В груди у него похрипывало. Охотник тихо откашливался, а отдышавшись, продолжал двигаться к широко протянувшемуся перед ним скоплению берёз и осин, будто бы хотел отыскать там

приют и кров, чавкал сизой присосистой глиной солончака и упрямо мял упругую стерню разгубаченными подошвами. Лишь однажды он повернул к небрежно заметанной скирде соломы, но тотчас же передумал и воротился на прежнее направление, так как вокруг пока ещё далеко было видно и только за лесом оставался невидимый участок. Вероятно, он-то и приманивал охотника, заставлял его поторапливаться, потому что серость в небе густела и чем дальше, тем окружающее становилось неразличимее - заедино сливались и земля, и небо, и воздух, пропитанный насквозь дождем. А лес вырисовывался все отчетливее сквозь дождевую завесу, вырастал, и охотник двигался с каждой минутой увереннее, пока, наконец, на опушке не прислонился плечом к користому слезливому стволу толстой старой берёзы. Она не заслонила его от мокрети, но все-таки стала на миг хоть какой-то опорой усталому телу. Постояв, охотник натеребил около берёзы пучок травы, обтёр ею руки, расстегнул на груди куртку, нашарил во внутреннем кармане облепленный мусором кусочек сахара, положил его в рот и с наслаждением пососал, причмокивая влажными губами.

На какое-то время дождь перестал: охотник даже отшагнул от дерева, чтобы на него не капало, но облака снова брызнули прохладной влагой. С неба неотвратимо полились сумерки, поэтому охотник зябко поёжился, обидчиво посмотрел ввысь и отправился теперь уже лесом, выбирая прогалины с невысокой, объединенной скотом травой. Здесь идти было много легче: сапоги о траву очистились. Отдохнув и переведя дух, он пошагал размашистее, хотя то и дело огибал зацепистые заслоны ракитников, подныривал под нависавшие сучья в редианах, а когда наткнулся на давно заброшенную людьми дорожку, то замешкался - вправо ступить по ней или влево? - потоптался в раздумье и повернул влево: туда было попутнее. Дорожка забирала в глубь леса, в ту сторону, куда он и шел, извивалась заманистой узкой змейкой, раздвигала

молодняки, терялась за поворотами и открывалась вновь, затравеневшая, но с хорошо заметными колеями. Вероятно, дорожкой немало пользовались и раньше, потому что не за один год выбивается так земля.

Охотник обнадеженно приободрился, попробовал по-свистеть что-то для себя, но свиста не получилось: с губ сорвались капли воды, раздробившиеся от дуновения. Охотник умолк и заспешил ещё больше, так как сумрак уже не только лился с высоты, а поднимался и от прибитых непогодой трав, от приплюснутых куч изгнившего хвороста, выползал из гущи деревьев, обступал со всех сторон, наваливался, оставляя все меньше и меньше обозримого пространства.

Дорожка ещё несколько раз вильнула, неожиданно накренилась и повела под крутой уклон. Охотник заскользил вниз, чуть не упал, кое-как все-таки удержался и стал спускаться осторожнее, переступая, как старик с лестницы - боком. Но вскоре дорожка выровнялась, затем так же круто потянулась вверх и ему пришлось цепляться за ветки, подтягиваться, чтобы сохранить силы. А на самом верху выкруглявшегося овражка лес расступился, и охотник увидел перед собой огороженный жердями загон, а за ним в сумраке приземистое строение, оказавшееся ветхой, но обитаемой фермой, потому что вблизи его опануло густым запахом вылежавшегося сена, свежего навоза и кислинкой силоса. Охотник обрадованно осмотрелся, только не увидел поблизости ни самой, должной быть здесь, деревни, ни приветливых огоньков в избах, словом, ничего, хоть отдаленно напоминающего жильё. Тогда он снова двинулся вокруг фермы, поворотил за угол и тут же натолкнулся на низкую кирпичную пристройку с одним тускло освещенным окном.

Охотник даже оторопел перед этим желтым квадратом, но из трубы над пристройкой срывался тёплый и терпкий дым, поэтому охотник спешно вычистил о завявшую у стены крапиву сапоги, ступил на крылечко в одну ступеньку

и нетерпеливо постучал в дверь.

- Да не балуйся, дядя Костя! - отозвался из-за двери звонкий ребячий голос. - Знаю я тебя, охмуряльщика!

Охотник отворил дверь, вошёл, и сидевший перед фонарем «летучая мышь» у топившейся плиты мальчик лет тринадцати настороженно вскочил, увидев перед собой незнакомого вымокшего человека. Мальчик читал книгу и теперь шарил по ней пальцами, не то стараясь закрыть её, не то взять в руки.

- Здравствуй! - приветливо улыбнулся ему охотник, откидывая капюшон, под которым оказалась измусоленная со слипшимся ворсом шапка.

- Здравствуйте! - от изумления тихо отозвался мальчик.

- Можно мне у тебя обогреться?

- Конечно! - уже раскованно и даже обрадовано затопился мальчик, оставляя на крохотном, исписанном разными словами столике книгу. - Вы раздевайтесь, снимайте одежду-то. Я сейчас в печку дров подброшу, обсушитесь. А я думал - это дядя Костя, шофёр с молоковозки, балуется, - говорил он, присев на корточки перед печкой и заталкивая туда загодя припасенные обломки жердей, пока пришелец рассупонивался от зайца, снимал телогрейку вместе с неотделимой от неё курткой, стаскивал прикипевшие к ногам сапоги, прищемив их к косяку приоткрытой дверью. - Он такой шутник: то собакой под окошком залает, то петухом закукарекает. Один раз даже волком завыл, всех коров переполошил: они чуть привязи не оборвали.

- Наследил я тебе тут, брат, - разматывая портянки, виновато проговорил охотник.

- Ничего, дяденька. Сейчас мы вашу одежду к жарку повесим, а пол вехтем подотрем.

Он выпрямился, критически осмотрел гостя, уверил:

- Вам и брюки снимать придётся. На теле-то они долго не высохнут.

- Ты здесь один?

- Один, дяденька.

Пока охотник переминался, раздумывая, за что взяться, мальчик сноровисто подхватил его тяжелую и жесткую куртку, с трудом выдрал из неё промокшую телогрейку. Её он повесил внаброс на ступенчатый дымник, а куртку на выдернутую во всю длину вьюшку.

- Шапку вашу пристраивайте вот на этот гвоздь, - указывал он между делами, - а портянки на проволоку. Ее наши пастухи для того и привязали над печкой. Сапоги мы поставим на нижнюю приступочку, чтобы их жаром не покорило. А куда девать зайца?

- Не знаю, брат, - развел руками охотник. - Зажарить его разве?

- Что вы! - громко воскликнул мальчик и посмотрел на него, как на чудака, зеленоватыми глазами. - Вы за ним такую даль исходили. Да и жарить не в чем. У меня здесь только подойники. Может, его на лёд положить, чтобы не испортился?

- На какой лёд? - удивился в свою очередь охотник.

- Лёд у нас с прошлой зимы остался. Наморозили его, чтобы молоко охлаждать, опилками засыпали, потом соломой укрыли. Он и до сих пор не весь растаял. Так отнести?

- Что ж, отнеси, если тебе не трудно, - согласился охотник.

- Какой труд. Я сейчас. Жалко, если испортится.

Мальчик мигом натянул старенькую кепку и, как был в пиджачишке да в материных, не по ноге, сапогах, так и выскочил из пристройки, высоко держа за задние ноги зайца.

Пока он отсутствовал, охотник поближе придвинулся к замалиновевшей от огня плите, с наслаждением протянул над теплом ладони, довольно пожмурился, затем повернулся к плите спиной и осмотрел так неожиданно уютившую его убогую комнатку. Четыре метра в длину и столько же в ширину, две двери: входная и чуть пошире -

в ферму. Над нею висел совершенно выцветший лозунг: «Животноводы! Надоим от каждой фуражной коровы 2000 литров молока!», в переднем углу рядом с печью высилась двухъярусная лежанка со скатанными в рулон грязными матрацами. Между лежанкой и печью стоял шаткий квадратный столик, около него единственная табуретка, напротив приколоченная к стене длинная лавка с опрокинутыми на неё ведрами, алюминиевой флягой и десятилитровым мерником, на который была наброшена чисто выполосканная марля.

Всё в этом помещении люди приспособили для нелегкой пастушеской полевой жизни: и фанерную аптечку, укрепленную над столом, и проволоку, на которой начали сохнуть портянки охотника, и деревянную приступочку для обуви, и ременный кнут, намотанный на кнутовище и подоткнутый под матицу, и старый прорезиненный дождевик за печью, и синенький будильник на аптечке, показывающий без четверти восемь.

За дверью слышались шаги. Через некоторое время вошел мальчик, сразу же передрогнул всем туловищем и тоже потянулся к печке.

- Ох, и погода дурная, - сказал он. - Совсем прохудилось небо. Четвертую неделю всё льет и льёт.

Охотник подвинулся и сбоку посмотрел на его худенькую струйную фигурку, одетую в простые хлопчатобумажные брюки, в такой же, в пару к ним пиджачок. Мальчик стацил с головы кепку, смяв её пирожком, и его коротко подстриженные волосы русо взъерошились, поднялись торчком, хоть он и пригладил их туда-сюда руками. Лицо у него было некрасивое, скуластое, в крупных разбросанных по щекам конопатинах, но очень живое, умное, особенно это выражалось в смотрящих смело и прямо больших зеленоватых глазах.

- Прибрал я вашего зайца, - опять заговорил мальчик. - В бидон упечатал, чтобы крысы не испортили. Их в ферме видимо-невидимо. Раньше-то здесь несколько скот-

ных дворов стояло да Обрядовка неподалёку - деревня здешняя так называлась. Сейчас всё разломали, вывезли, вот крысы в эту ферму и сбежались.

При упоминании о крысах охотник невольно переступил босыми ногами и посмотрел на пол. Мальчик заметил его произвольное движение, сначала засмеялся, а потом серьёзно успокоил:

- Да вы не бойтесь. Они сюда не забираются. Фундамент бетонный и пол бетонный да ещё их с толченым стеклом заливали. А двери с той стороны железом обиты. Им и в ферме вольно, еды хватает.

- А почему же и деревню, и фермы разломали?

- Переселили в Озерное, на центральную усадьбу.

- Переселили?

- Конечно. Кому же в Обрядовке-то было охота жить? Пятнадцать дворов, ни клуба, ни магазина. В школу и то за семь километров приходилось ходить. Правда, последний год на автобусе возили, только все равно неудобно. Мы тоже здесь жили, так мне не нравилось. А нынче переехали - куда с добром! И школа рядом, и квартиру нам трехкомнатную дали. Мама и то говорит:

- Таких квартир всего две штуки в селе: у нас да ещё у Парахиных.

- Я понимаю, - сказал охотник. - Но как ты здесь, на ночь глядя, очутился?

- Так я коров доил, - поднял порозовевшее от жара лицо мальчик. - Мама у меня дояркой работает да сёдни что-то расхворалась. Продуло, наверно, в ферме её. А подменить никто не соглашается. Коровы-то здесь остались бракованные, их вместе с другими держать нельзя. Вот моя мама и ухаживает за ними, пока их на мясо не сдадут. Она у меня отчаянная, всегда туда, где труднее, лезет. Другие боятся, а ей все нипочём.

- Что же, твоя мама пешком ходит сюда?

- Не-ет. Её утром и вечером на машине привозят. На дежурной. А отсюда она с молоковозкой приезжает, с дя-

дей Костей. И дядя Макар тоже. Летом-то он коров пас, а теперь только сторожит. Их я и ждал да, видно, уж не приедут. Я сюда пораньше притопал, а им, наверное, не обратиться без трактора. Солонцы у нас, как зарюхаешься, так до самого кузова. Если дождь, лучше не суйся без буксира. А сёдни выходной, вот они, вернее всего у Грязного колка и забуксовали, там няша непролазная...

- Неужели ты сам коров доишь? - перебил его изумлённый таким объяснением охотник.

- Ясно, дою, - пожал плечами задетый его недоверием мальчик. - Я с третьего класса маме помогаю. Ребята из нашего класса надо мной иногда посмеиваются: лучше бы, мол, машиной или трактором, или магнитофоном увлекался. А мне машины не нравятся. Я больше животных люблю. Они такие ласковые, доверчивые. Я только в ферму захожу, а они все на меня сразу смотрят. Ждут, когда я их поглажу да шейки им почешу. А пока дою, они меня всего оближут. Я их никогда не обижаю, делаю, как мама меня учила. И они тоже слушаются.

- А как тебя зовут?

- Сашей. У меня и отчество Александрович, и дедушка - тоже Саша. И фамилия у нас подходящая, - погордился мальчик, - Александровы. Дедушка говорит: фамилия хорошая, именная, русская фамилия.

- Правильно, - согласился охотник. - Самая русская фамилия. Он хотел было спросить мальчика про отца, вопрос этот едва не сорвался с языка, но охотник вовремя одумался и спросил:

- А скажи-ка, Саша, далеко ли отсюда село Жилино?

- Ого! - недоверчиво воскликнул мальчик. - До Жилина отсюда километров пятнадцать. Вы заблудились, да, дяденька?

- Заблудился, - с грустной улыбкой признался охотник.

- Закатило меня, в ваши края занесло, сам не знаю как.

- Ничего, - ободрил его мальчик. - Иногда человека на одном месте закружит-закружит; только он от него отой-

дет, смотрит - снова на том же месте. Особенно, когда солнце за тучами. Я книги Федосеева из нашей библиотеки читал, там точно про такое написано.

У охотника от долгой ходьбы побаливали ноги: он отошел от печки, с побряхтываньем опустился на стул, спросился:

- Курить-то, брат, здесь можно?

- Курите, если хотите, - разрешил мальчик. - Дед Макар, тот все трубку сосёт, как соску. Из рта не выпускает.

- А ты не покуриваешь?

- Нет. Я не дурачок, чтобы здоровье гробить, - открыто посмотрел на охотника мальчик. - Ни к чему засорять легкие. Они нам для другого пригодятся. Так мой дедушка говорит, а он в жизни не куривал.

Смотрел и говорил мальчик очень серьезно, без малейшего намека на иронию и вдруг встрепенулся, отвлек себя:

- Дяденька, вы же, наверное, есть хотите?

- Не мешало бы, - откровенно откликнулся тот. - Но у меня в кармане вошь на аркане да блоха на цепи.

- Сейчас сообразим что-нибудь, - обрадовавшись, что ещё чем-то может помочь забредшему к нему человеку, засуетился мальчик, достал с верхней лежанки потрепанный рюкзачок и выложил на стол перед охотником добрую краюху домашнего хлеба с подрумяненной твердой корочкой и ямкой от пальца стряпухи посредине, два коричневых огурца крепкого посола, аппетитно пахнущие хреном и чесноком, сметану в баночке из-под майонеза и десяток пиленок сахара. В рюкзачке у него нашлись и эмалированная кружка, и чайная ложечка, а из кармана пиджачка он вынул складной перочинный ножик.

При виде такого нежданного богатства охотник невольно сглотнул слюну, а мальчик, не зная, что бы еще предложить гостю, смущенно сказал:

- Дяденька, ... я могу молока вскипятить, если вы не поморгуете. Кипяченое-то оно...

- Какое поморгую! - не дослушав, поторопил охотник. - Я, Саша, сейчас подметку от сапога съем. Кипяти молоко!

Охотник оживленно подморгнул своему маленькому кормильцу, а тот в ответ ему тоже весело прищурился:

- Вот и хорошо! Я сам не моргую. Говорят: от поганого не треснешь, а от чистого не воскреснешь. У русского в животе и долото переварится. Это моего дедушки поговорка. Он у нас воевал, всего натерпелся. Теперь как в гости приедет, так по всей ночи свои мытарства вспоминает. Мы с мамой уж спать захочем, а он без конца говорит и говорит, а я слушаю. А вы, дяденька, не воевали?

- Не воевал. Я, Саша, накануне войны родился. Но мурцовки и мне хлебнуть пришлось. И голодным был, и картошку мороженую весной на залитых огородах без штанов из воды собирал, и за колоски падалишные меня ретивые законники кнутом лупили. Учился мало, работать пошел в колхоз. Потом ФЗО, это вроде теперешнего ПТУ. Детства такого, как у вас, Саша, у моего поколения тоже не было. Отец у меня на фронте погиб, а мать одна с пятерыми осталась.

- Да, - согласился Саша. - Вам тоже трудно пришлось. И наголодались, и нахолодались. Теперь-то нам что. Одеть есть чего, едим тоже досыта. Вот зарплату бы еще вовремя давали.

А вскоре они вместе сидели у стола - охотник на стуле, а Саша на принесенном с лавки бидоне - и ужинали, по-братски делили все, что положила заботливая мама Саши.

- Может быть, все-таки за молоком-то ваши приедут? - между едой спросил мальчика охотник.

- Если бы приехать, то они приехали бы часам к семи. Я все ждал, думал, вот-вот подъедут, почитаю, покажется: вроде трактор гремит. Послушаю, на крыльцо выйду - нет, почудилось. Опять примусь читать. Книгу я с собой интересную взял. «Пушки острова Наварон» называется. Такая занимательная книга, про разведчиков, как потом начал читать и про время забыл. До вашего прихода не

мог оторваться. Не читали?

- Не довелось.

- Жаль. Если в вашей библиотеке есть, возьмите. Не прогадаете. Я особенно книги приключенческие люблю да ещё про индейцев.

- А другие разве не читаешь?

- Читаю и другие. Только приключенческие меня больше увлекают. Переживательно и люди там выведены сильные, бесстрашные. Читаешь и думаешь: эх, мне бы туда! Вот мой дедушка, сколько случаев рассказывал или дядя Макар. Я ему другой раз книжку занимательную почитаю, а он мне истории разные из своей жизни приводит. Он афганец, орденом награжден. Жаль, что сегодня не приехал. Он бы вам порассказал за ночь, хоть сразу книгу пиши. А то вам одному здесь скучно будет.

- Почему одному? А ты? - перестал есть охотник.

- Я домой пойду. Мама у меня сильно заболела. Температура у нее тридцать восемь с лишним. Тетя Таня, фельдшерница наша, сказала: - если до утра не спадет, в районную больницу отправлять придется. Так что мне оставаться никак нельзя. А вы, дяденька, здесь ночуйте. Дров я напас, до утра хватит. Солярка в фонаре есть. Я и книгу вам оставляю, ночь скоротаете. А утром за молоком все равно трактор пошлют. Тогда и вас увезем.

- Да как же ты один в такую темень пойдешь? Слышишь, и дождь все пуще расходится.

Оба они прислушались: дождь и впрямь усиливался. Теперь его шум уже не походил на монотонный и грустный шорох, капли густо и гулко стучали по шиферу, а напротив окна ворчливо журчала стекающая с крыши струйка. Что-то зловещее было в этом настильном шуме ночного осеннего дождя, поэтому охотник не выдержал, прервал их затянувшееся молчание:

- Как же ты, Саша, по такой погоде дойдешь? Еще заблудишься или забоишься.

- Не заблужусь. Я здесь каждый кустик наизусть знаю.

А бояться чего? Волков сейчас повывели, а больше у нас и бояться некого.

- Что же вы, Саша, с мамой одни живете?

- Нет. У нас есть ещё Наташка. Только она маленькая, ей пять лет всего.

Охотник опять хотел было спросить мальчика об отце, но сразу же передумал, побоявшись ненароком больно задеть его детскую душу, и заявил решительно:

- Нет, Саша. Я не могу тебя одного в такую ночь отпустить. Давай так поступим: подождем полчаса. Если ваши не приедут, за это время я отдохну и одежда моя просохнет. Тогда мы и пойдем с тобой вместе. Все равно мне нужно утром в Жилино попадать. Согласен?

- Согласен! - обрадовался такому предложению мальчик. - Вы пока ложитесь на верхнюю лежанку. Там теплее, вот и отдохнете. Матрасы от пастухов остались, и одеяла. Скоро все увезут на склад. И ферму разломают. Зачем здесь она? Залезайте, дяденька, отдохайте.

Охотник послушно вскарабкался на лежанку и улегся на кочкастом, пропахшем махорочным дымом матраце, а мальчик убавил огонь в фонаре. Отодвинул его подальше, подумал и загородил мерником, чтобы свет не падал на лицо охотника.

- Удобно вам, дяденька?

- Не беспокойся, брат. Спасибо тебе за все.

- Не стоит, - смутился мальчик. - А ведь вы, дяденька, городской, не жилинский. Я сразу догадался.

- Почему? - заинтересованно спросил охотник и приподнялся на локте.

- Деревенский бы не заблудился.

- Действительно. Родом-то я из деревни, только давно живу в городе.

Они ещё какое-то время разговаривали о том, о сём: о мокрой осени, об охоте, об оценках, полученных Сашей в школе, о том, что такое Зауэр - три кольца - потом у охотника начали сонно слипаться веки, и он стал клевать но-

сом, рассеянно слушая своего собеседника и порой отвечая невпопад. Тогда мальчик замолчал и осторожно раскрыл книгу, он подпер подбородок ладонью и несколько минут читал, беззвучно пришептывая губами, потом оторвался от страницы, позвал тихо:

- Дяденька, а дяденька...

Но уморившийся и разморенный теплом дяденька его не услышал, он сладко спал, свесив с лежанки руку и приоткрыв рот, отчего на его лицо наплыла чуть видимая грустинка.

- Умаялся, сердешный, - вздохнул мальчик, поднялся из-за стола, помял побелевшую у огня куртку охотника и, убедившись, что она просохла, осторожно укутал того ею. - Какой из вас ходок, - сказал при этом мальчик. - Теперь вас до утра не разбудишь, хоть из всех пушек острова Наварон пали. Спите уж. Я и один уйду. А утром и вы уедете, чего же вам в ночь по такой погоде тащиться. Если бы у меня мама не болела...

Мальчик с сожалением осмотрел такую теплую и светлую в ночной непогоде комнатку, закрыл книгу, надел свою болоньевую курточку, а поверх неё натянул прорезиненный балахон плаща, убавил до притемок свет в фонаре, запахнулся в свое длиннополое одеяние, выдохнул и вышел за дверь, оставив спящего охотника на теплой лежанке.



ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ

Вячеслав уходил тяжело, как раненый зверь. Все мнилось ему, что окликнет его Мария, позовет обратно и лягут ее мозолистые руки на плечи, и затуманятся яркие глаза. А он приблизит ее лицо к своему, прильнет губами к ее губам и утонет в бездонном счастье.

Вячеслав затылком ощущал неотрывный жалостливый взгляд Марии и ждал ее оклика, неуверенно переставляя ватные ноги. Но в лицо тыкались колючие лапы сосен, сапоги тонули в прохладном буро-зеленом мху, и такая тишина стояла на земле, что Вячеслав слышал гулкий стук собственного сердца.

Тропку к лагерю он знал наизусть. Вот уже и поворот, откуда не виден домик Марии, вот красный березовый пенек, где Вячеслав много раз отдыхал и думал, а Мария молчала. Кружился лес перед глазами, звенело в голове, зрело нелепое мальчиночное желание заплакать, закричать от горя, забиться, проклянув белый свет...

А Мария бессильно осела на крыльце, позвала Валюшку с Петяшкой. Дети подошли боязливо. Размазывая слезы по щекам, присели к ногам матери ступенькой ниже.

Мария погладила их белокурые головки, прислонилась горячим виском к резной планке перил. Не мигая, смотрела на сплошную стену деревьев и думала о том, что произошло.

...Медленные летние сумерки поднимались от зеленой земли, когда Мария возвращалась с дальнего квартала, где отводила покосы пенсионерам. Шла Мария нетороп-

ливо, наслаждаясь ядреной смолистью и чистотой лесного воздуха, пением вечерних птиц и таинственным перешептыванием деревьев. Из пышных мхов, из черничных порослей поднималась долгожданная прохлада. Чащи уже мрачнели снизу, готовились к ночи, а вершины стройных сосен насквозь просвечивались заходящим солнцем.

Она шла по старой лесовозной дороге, поросшей подорожником и мелкой травой. Шла и вспоминала такое близкое детство, когда она с ватагами деревенских ребятишек ходила на вырубку за малиной, за брусникой, за тугими, весомыми белыми грибами.

Затем думы Марии переносились еще ближе к настоящему: к веселому девичеству с посиделками допоздна, с походами в кино, что изредка показывали в соседнем селе, с ласковыми ухаживаниями парней, которых она отвергала ради Петра, статного и видного великана.

Замужество не принесло Марии радости. Петр, казавшийся добрым и бескорыстным, изменился с первых же дней после свадьбы. Он часто и много пил, обижал Марию, даже побивал под пьяную руку. Он любил похулиганить, покуражиться перед людьми.

Их семейная жизнь кончилась тем, что Петр два года назад продал приезжим лесорубам две машины государственного строевика и угодил на восемь лет в тюрьму.

Осталась Мария, двадцатичетырехлетняя женщина с яркими синими глазами и цвета крыла ворона косой до колен, без мужа растить и воспитывать двухгодовалых двойняшек. Она отпросилась из товарищества, устроилась в лесничество, заменить Петра. В деревне не осталось: было стыдно перед соседями за свой позор, было трудно там, где ее осуждали и жалели. Мария перебралась в лес, в домик, построенный предшественником Петра. Домик пустовал. Разве что иногда селились в нем дроворубы или косцы. Мария оттерла дресвой до белизны пол, побелила черные от копоти стены, перевезла сюда свой нехитрый скарб и детей.

А позднее и свекровь запросилась к Марии. Куда денешь старуху? Перевезла, хоть и недолюбливала ее за потакание Петру, за чрезмерную ворчливость.

Так и жили вчетвером уже два с лишним года. Жили дружно. Марию со свекровью сблизила, сдружила общая беда. В деревню ходили редко, разве что за продуктами в магазин.

Валюша с Петяшкой росли здоровыми, крепкими. Шел им на пользу лесной воздух, снежные зимы ложились цветастым румянцем на пухлые щечки детей.

Петр писал до обидного мало, больше блатными стишками, глупыми и рыдающими. Он в письмах не осуждал себя, но чувствовалось, что ему нелегко, что надломилась его душа от той, неизвестной Марии, жизни. К жене Петр часто обращался, но порой намекал, что не надеется на ее верность в эти годы. Марию обижали намеки мужа, она после таких писем подолгу плакала где-нибудь в лесу.

Она хорошо понимала, что их жизнь и чувство разделяла трещина, что им, как двум льдинам в стоячей воде, теперь уже трудно приблизиться друг к другу. Но отгоняла от себя такие мысли, верно ждала Петра, писала ему письма, посылала передачи. Все-таки неразрывной веревочкой их связывали прожитые вместе годы и прелестные дети, их согревало тепло еще не растерянного до конца чувства.

Так размышляла Мария, подходя к дому.

Вдруг до нее донеслось ровное гудение моторов, позвякивание металла, чьи-то голоса. Похоже, что возле ее жилища остановилась неизвестная автоколонна. Мария беспокойно зашагала быстрее. Дорога повернула налево, сузилась в густом сосняке и выползла на опушку леса.

На целинной полоске, перед окнами, стояло два трактора и тарихтел голенастый вездеход. В стороне, ближе к пшеничному полю, дымил костер. Его окружили четверо мужчин. Еще двое несли из леса валежник. А седьмой

высаживал из кабины Валюшку с Петяшкой. Видимо, он только что покатал их: такие довольные лица были у ребятшек.

Мария приблизилась серьезно и строго. Увидев мать, Валюшка с веселым визгом бросилась к ней, а Петяшка так и остался возле незнакомца, крепко ухватив его за палец. Мария невольно улыбнулась этому. Довольно высокого роста, с пробившейся щетиной бороды и усов, незнакомец высился над сыном, как скала над камешком и молча смотрел на Марию.

Она поздоровалась. Мужчина осторожно высвободил палец, шагнул навстречу.

- Вы здешний лесничий? - спросил он несколько смущенно.

- Да, - ответила Мария, - а это мои дети.

- С ними мы уже познакомились, - улыбнулся мужчина.

- Чудесные ребяташки. Они мне все рассказали. И то, что вас зовут Марией, и то, что их папка скоро приедет и привезет им много конфет и игрушек.

Он увидел, как погрузилась Мария, осекся и переменил разговор.

- А я - Вячеслав. Нам отвели в каком-то пятнадцатом квартале делянку, вот мы и приехали. Завтра просим вас проводить нас на место. А сегодня, с разрешения вашей матушки, переночуем здесь. Документы я покажу.

Вячеслав направился к машине.

В это время к Марии потянулись остальные. Первым приблизился белобрысый парень с редкими зубами. Видя перед собой молодую, симпатичную женщину и желая хоть чем-то блеснуть перед нею, он лихо щелкнул каблучками сапог, вскинул руку к неопределенного цвета кепке.

- Разрешите представиться. Максим, чуть ли не Перепелица. Но об этом несколько не жалею, - хрипло отрекомендовал он. - А вот этот добрый молодец - мой коллега. - Максим ткнул пальцем в грудь конопатого хилого мужчину. - Алеха Петров. Любимец курганских актрис. Как все

происходило, при случае он нам расскажет сам.

Мария не утерпела, рассмеялась. До того нелепой была характеристика человеку, похожему на лесного сморчка.

Заулыбались и мужчины. Максим же сказал:

- Ну, а прочие сами представятся, если надо. Орлы перед вами.

Вернулся с бумагами Вячеслав. Порубочный билет подал Марии. Она прочитала бегло, свернула и положила в нагрудный карман.

- Хорошо. Тронемся часа в три. Сейчас отдыхайте. Валя, Петя, идите домой.

Мария подхватила Валюшку на руки, потянулась к Петяшке. Но тот непослушно набычился и опять прижался к Вячеславу.

- Пусть он побудет с нами, - попросил тот. - Соскучился о людях.

«Еще как соскучился» - подумала Мария и не стала возражать. Она пошла с Валюшкой к дому. Максим бесцеремонно потащился за нею. Он балагурил, налаживал контакт. Его шуточки оборвал Вячеслав, который немедленно велел устранить неполадки в тракторе, а уж потом заниматься посторонними делами. Недовольный Максим с ворчаньем отстал.

Валюшка обхватила шею матери и прошептала ей в ухо:

- Мам, а мам?

- Что тебе, Валенька?

- Я тоже хочу к дяде Славе. Я тоже о людях соскучилась.

Мария крепко стиснула дочь, вздохнула, опустила ее на землю.

- Горе ты мое луковое. Иди погуляй. Только недолго.

- Ладно, мама!

И Валюшка вприпрыжку побежала назад.

Ночью Марии приснился Максим. Он страшным лесовиком гнался за нею, злорадно хохотал и норовил ухватить за косы. Мария бежала, задыхаясь, звала на помощь

Вячеслава, а он маячил смутной тенью вдалеке и не отзывался. Мария бежала в темной чаще и вдруг провалилась в бездонную пропасть. Проснулась внезапно, села на кровати.

Светало. Заливисто и пронзительно верещал пускач трактора. Он-то и разбудил ее.

Оконные стекла тихонько дребезжали. Мария облегченно вздохнула: «Приснится же такое», - подумала она, поднялась, подошла к сладко посапывающим детям. Они спали так безмятежно, что их не смогла бы разбудить и пушечная пальба. Вчера Вячеслав привел ребятишек уже в потемках. Но Валюшка и Петяшка ни за что не хотели его отпускать. Они просили дядю Славу остаться, предлагали место в своей кровати. Мария посоветовала ему пригласить товарищей спать в сенах, так как ночи росные и гнуса много. Вячеслав отказался.

— Мы на вольном воздухе, на соломе. По пути навалили полкузова.

Мария подошла к окну, отодвинула занавеску. Лесорубы готовились к отъезду. Алеха Петров заливал костер. Максим возился у трактора. А один, бородатый, сидел на траве и увлеченно перематывал огромную фланелевую портянку.

Мария быстро умылась, напоила корову, насыпала курам зерна. Вышла заспанная свекровь.

- Я управлюсь, Мария. Провожай этих сабодражников. Все уши прозвонили. Детей, не дай бог, разбудят.

Мария набросила на плечи китель, подергала отвисшую пуговицу, поправила на детишках одеяло и пошла к лесорубам.

- Готовы?

- Готовы! - весело отозвался Вячеслав, - можно ехать.

Трехкилометровый путь до деляны одолели за полчаса. Мария сидела в кабине прыткого вездехода рядом с Вячеславом. Ехали тихо, чтобы не потерять из виду тракторы. Изредка перебрасывались отдельными словами.

Вячеслав небрежно рулил между сосен, плавно переваливая машину через колдобины. Поднималось солнце, и зайчики бежали по его лицу. Вячеслав повернул зеркальце обзора и часто взглядывал в него на Марию. Но как только их взгляды встречались, отворачивался и смотрел на дорогу.

Когда на тенистой полянке выбрали место для стоянки, Мария показала, как окопать огневище, посоветовала, какие дрова лучше использовать для костра. Потом прошла с топориком по участку, отметила затесами маточные деревья. Вячеслав ходил рядом, внимательно выслушивал наказы, радовался, что место для рубки очень удачное: рядом с дорогой и удобное для трелевки. Мария подметила, что он все хочет о чем-то спросить, но не решается. Она постаралась поскорее оставить бригаду.

Что она знала об этих людях? Почти ничего.

Из лагеря Мария ушла спокойная. Целый день увлеченно занималась обычными лесническими делами. Но нет-нет, да и вспоминался Вячеслав, его тихий, спокойный голос, его неторопливые манеры, его простые серые глаза, в которых таилось что-то неясное, невысказанное. Мария представляла, как ласкал он Валюшку с Петяшкой, как катал он их на машине, как ползал за ними на четвереньках по траве и мычал, неумело изображая медведя. Марии становилось радостно, она ловила себя на этом и тотчас же грустнела от своего одиночества, от долгого полусиротства детей.

Вечером зашел Вячеслав.

В этот день Мария несла из деревни покупки и еще издали услышала стук топора. Он был так неожидан и так приятен, что Мария невольно вздрогнула и заспешила к дому. «Неужели Вячеслав?» - подумала она, ощутила, как беспокойно заволновалось в груди и испугалась: «Что со мной? О Петре бы думать-то. Быстрее бы освободился».

А сама радовалась и не чуяла ног. Да, Петр еще не

видел конца - края своему заключению, а у дома плотничал Вячеслав. Он ремонтировал прохудившееся крылечко. Видимо, свекровь дала ему инструмент сына, и он легко и умело фуговал почерневшую от времени доску, снятую с повети двора. Фуганок шавкал, как селезень, желтая пахучая стружка обвивала Вячеслава и с шелестом падала к его ногам.

Валюшка и Петяшка подбирали упругие кольца и плели из них венки.

Увидев Марию, Вячеслав распрямылся, откинул волосы. Достал портсигар, но не закурил, а держал его в руке и поджидал Марию. Он, кажется, испугался, отводил глаза и краснел.

Мария чувствовала, как и ее тело наливается зноем, как по ложбинке груди щекотливо течет капля пота, как в ногах появляется предательская дрожь.

- Я-то думаю, кто хозяйничает у нас, - с трудом заговорила она и от звука голоса осмелела.

- Решил поправить ваше крылечко, - словно оправдываясь за этот визит, сказал Вячеслав. - Дела на час, а проку - на год. Мы сегодня все равно не рубим. Ребята напланировали отдохнуть, складчину устроили. А я ушел. Не люблю никчемных пьянок.

Он стоял неуклюжий и стыдливый от своей доброты.

- Зря вы утруждаетесь, Вячеслав, отдыхали бы.

- Отдохнуть я всегда успею, Мария. Вам же, может, помогу один-единственный раз.

- Заходите. Чаем с малиновым вареньем угощу.

- Спасибо. Зайду. Вот доделаю...

Они сидели у круглого стола и пили парной чай. Никелированный самовар посвистывал и дребезжал конфоркой. Неторопливо толковали о житье-бытье, о затянувшейся засухе, о лесе. Иногда Мария покрикивала на шаливших детей, Вячеслав заступался.

- Пусть играют. У меня такой же постреленок. Постарше чуть, шестой в мае пошел. С бабушкой остался. Она в

нем души не чаает.

- А жена? - опросила Мария и напряглась от ожидания.

- Умерла, - вздохнул Вячеслав, - когда родила.

Он закусил губу и долго смотрел в окно.

А Мария смотрела на Вячеслава. И так ей захотелось по-бабьи нежно приветить его, чтобы не уходил он из этой комнаты, чтобы остался навсегда.

На дворе свекровь звякнула тяпкой.

Вячеслав оторвался от окна.

- Пойду я. Пора и честь знать.

- Я провожу тебя немного.

Они шагали опушкой по извилистой тропинке, случайно задевали друг друга локтями, отдаляясь и снова сближаясь.

Пахло созревающим хлебом.

И необыкновенно щемящая чистая волна пока неосознанного чувства захлестывала Марию. Ей и самой захотелось мужской ласки, простого женского счастья. И так силен был порыв, что Мария не удержалась, взяла Вячеслава под руку и склонилась к нему.

Он, удивленный и взволнованный, остановился.

- Мария! Мария!

Его дыхание обожгло ей лоб. И вдруг откуда-то из глубины сознания вырвалась огромная и тревожная мысль: «Нет!» Она распрямылась, как стальная пружина, оттолкнулась от Вячеслава, отбросила его руку.

- Иди, Вячеслав... Иди.

Вячеслав шагнул было к Марии, несмело потоптался, улыбнулся и быстро пошел. А Мария свернула к ельнику, упала в глубокий прохладный мох и разрыдалась. Она выплакивала скопившуюся боль. Как будто вышла из той щемящей и чистой волны, опустилась на затоптанный серый песок, и мир поблек, завял в одночасье.

- Боже мой, что же я? У меня же муж, дети. О них нужно думать, ими жить.

Свекровь ходила мрачнее тучи. Она молча пришла со

двора, процедила парное молоко, с грохотом вымыла поддоник. Ни за что ни про что шлепнула Петяшку, подвернувшегося под руку. Тот заревел, бросился к матери.

Мария спросила:

- Мамаша, что с тобой? Почему ты сердита?

Свекровь сверкнула гневными глазами, уперла руки в бока.

- Ты думаешь, Петра нет, так можно другим на шею вешаться? Разве я слепая?

Мария обняла ее, ткнулась лицом в плечо свекрови.

- Милая ты моя старушка! Разве я когда-нибудь изменю Петру? А с тобой нам век вековать.

Свекровь смягчилась, прослезилась.

- Ты думаешь, мне не обидно? Петро-то сын все-таки, не пасынок.

- Если ты хочешь, мама, к нам больше никто не придет. Я откажу.

- И пусть не ходят. Спокойнее. От греха подальше. А то сначала воду черпают, крыльцо чинят, а потом и тебя уведут.

Как-то в магазине Мария встретила Алеху Петрова. Он рассказал, что дело близится к концу и что скоро они уедут.

Мария наказала Алехе очистить деляну, пообещала у них побывать. Да так и не побывала.

Но часто думала о Вячеславе, невольно ждала его к себе. Она сознавала, что вместе им не быть, что они никуда не уедут отсюда, что будет всегда верна Петру и все-таки ждала. Запал Вячеслав ей в душу, разбередил ее.

Не может он не прийти. Не может! Последняя встреча какая-то будет она?

И страшилась этой встречи.

Вячеслав приехал на вездеходе.

Свекровь ушла в деревню на похороны ровесницы-подружки, а Мария стирала белье. Вячеслав поласкал Валюшку с Петяшкой, угостил их карамельками. Выглядел он торжественно и спокойно. Мария отложила стир-

ку, вытерла покрасневшие руки фартуком. «Хороший ты мой, на муку мы только встретились» - подумала она, глядя на Вячеслава, и к горлу подступил горький комок.

- Мария, я бы хотел поговорить с тобой, - сказал Вячеслав и расстегнул воротничок рубашки.

- Не говори, Вячеслав, Я знаю, о чем ты скажешь. Спасибо тебе. За все спасибо: за любовь, за доброту, за помощь. Я не поеду с тобой, хоть и сама хочу этого. Как я оставлю в беде мужа, куда я дену одинокую старуху-свекровь? Нет, Вячеслав. Что ответить тебе, я давно решила. Я останусь тут работать, воспитывать ребятишек, ждать Петра. Это мой долг, и ничего нельзя изменить. Прощай, Вячеслав!

Мария говорила и смотрела Вячеславу в глаза. Она видела, как они суживаются от горя, как Вячеслав никнет лицом, и жалела его. Но что она могла поделать?

Вячеслав провел по лицу ладонью, крепко зажмурился.

- Да, - сказал он и тяжело пошел.

Из дома выскочили отосланные туда Марией ребятишки.

- Дядя Слава, куда ты? Не уходи! - закричала Валюшка. А Петяшка тербил мать за подол и просил:

- Мама, пусть дядя Слава вернется. Пусть побудет у нас.

Вячеслав услышал крики детей, обернулся и, закрыв ладонями глаза, ускорил шаги. Валюшка с Петяшкой побежали за ним, но как будто почувствовали неладное, пугливо остановились. Они смотрели то на мать, по щекам которой текли тихие слезы, то на деревья, за которыми скрылся дядя Слава, и ничего не могли понять.



МГЛА НАД СТЕПЬЮ

Поленька, любимая! Ты не волнуйся, пожалуйста, не ругай меня. Я так хотел привезти тебя и дочку из больницы, но не получается, к моему несчастью. По-сылают за срочным грузом в Курганскую область, там вагоны простаивают и нет никакой возможности отказаться. Уж я и завгара умолял и к директору ходил с руганью. И так доказывал и этак, а директор мне в ответ: «Привезем без тебя твою жену с дочкой, свою персональную машину пошлю, только отправляйся, ради всего святого, больше некому. У кого машина неисправна, кто болеет. Выручай совхоз, а то провороним груз и штрафу совхоз не одну тысячу уплатит за простой вагонов». Уезжаю завтра утром. Письмо пересылаю с Иваном Котловым, который директора возит и за тобой приедет. Всё высылаю с ним: и пеленки, и ползунки, и тебе одежду потеплее - трико шерстяное, шаль и кое-что ещё. Хоть и не близко, но на «Уазике» доберетесь хорошо, в тепле. Я приеду примерно через два дня, все-таки четыреста с лишним километров в один конец. Ждите меня, растите. Я буду всю дорогу думать о вас. Целую тебя и нашу крохотульку курносую. Берегите себя, а там будем все вместе. Мамаша тоже ждет не дождется, так что она во всем поможет тебе. По хозяйству пусть она управляется, тебе пока нельзя. А как я вернусь, то уж сниму с вас эту заботу. Ивану я наказал, чтобы отправился за вами пораньше, засветло оборотиться успел. Целый час звонил тебе вечерам да почему-то не соединили. Ещё раз целую и до скорой встречи с му-

жем и отцом, любящим вас обеих.

Всегда твой Петя».

Такую записку от своего мужа прочитала Поля Алентьева, двадцатилетняя женщина, худая и бледная от недавно перенесенных мук первых родов и внезапной болезни новорожденной дочери, с которой она две недели пролежала в районной больнице. Одной рукой Поля держала перед глазами листок, вырванный из школьной тетради, а другой прищемляла на груди расплзающиеся полы узковатого ей халатика. До этого она выбежала радостная, а теперь прикусила губу и чуть не разрыдалась: так ждала своего ненаглядного Петю, так хотела, чтобы ему передали запеленатую дочку, отчего его лицо озарилось бы только ей видимым тихим счастьем, доброй отцовской улыбкой, чтобы на его могучем «ЗИЛе» ехать домой, привалиться к родному, пахнущему бензином плечу, рассказать о самом сокровенном, только что испытанном, услышать в ответ радостные сочувственные слова и вообще говорить и говорить о чем не придется.

И вот её мечты пошли прахом, Поля на минуту растерялась, молчала со слезами на глазах. Но перед нею с узлом в полувытянутой руке топтался Иван, рыжий, в рыжей же лисьей шапке мужчина, тоже растерянный от её неприветливости, и Поля опомнилась, взяла у него узел.

- Ты, Поля, собирайся, не торопись, - сказал ей Иван. - Я пока на крылечке покурю. А как соберешься, и поедем. Довежу вас в целости и сохранности. Петро-то твой мне все уши прожужжал, сильно переживал, но такая уж у нас доля шоферская. Беспокойство одно.

Говорил Иван ласково, вроде бы тоже извинялся за мужа, улыбался по-доброму, поэтому Поля начала успокаиваться и заспешила приготовить себя и ребенка к дальнему пути. В палате ей помогли другие женщины, дежурная медсестра принесла полиэтиленовый пакетик с витаминами и таблетками, дала последние наставления. Де-

вочка теперь не плакала, быстро сучила ножками и от всего этого Поля окончательно успокоилась, смирилась с мужниной поездкой, оделась, припудрила всё ещё испянанное лицо и в сопровождении пожилой нянечки, несшей девочку, вышла к Ивану.

- Давайте, я понесу ребенка, - попросил у нянечки Иван.
- Мне не привыкать, своих трое. Я в чистом...

- В чистом-то в чистом, - отказала ему строгая няня, - да от тебя за версту табачищем прёт. Я сама, ты человек посторонний.

На улице было ветренно, пролетал снежок, и Поля, за две недели отвыкшая от холода, продрогла, пока шли к машине. Иван распахнул дверцу, Поля торопливо взобралась на сиденье, приняла ребенка от няни, которая пожелала им счастливого пути и вернулась. Иван тоже влез в кабину. Мотор не был заглушен, от салонного отопителя веяло теплом, поэтому, как только Поля устроилась, Иван плавно тронул машину с места, и они поехали прямыми, но ухабистыми улицами райцентра.

Вот миновали двухэтажный универмаг, дом культуры с огромным мозаичным панно на фасаде, пересекли площадь с окнистыми зданиями бывшего райкома партии, теперь торгового дома. На площади росли молодые ёлочки, по самые маковки занесенные снегом. Поля, сама родившаяся и выросшая в безлесной казахстанской степи, любила смотреть на эти маленькие, опушенные вечнозелеными иглами деревья, и теперь с радостью увидела их, даже приклонилась к боковому стеклу, когда елочки начали отбегать назад, а когда выпрямилась, то на лице ее несколько минут оставалась легкая восхищенная улыбка.

«Уазик» долго кривлял между натолканных бульдозерами дорожных отвалов, а Поля с нетерпением ждала, когда откроется белая бесконечная степь, столь знакомая и неузнаваемая в постоянно обновляющихся зимних одеждах. Но когда они выбрались за околицу на узкий «грейдер», Поля разочарованно вздохнула: день выдал-

ся пасмурным, и мутная пелена скрывала дали, смазывала все очертания, совсем близко соединяя землю и небо. Если бы день был солнечным, все бы это неоглядное пространство искрилось, истекало золотистого оттенка белизной, ослепляло бы, поражая своим великолепием, а сейчас только махровые снежинки проскальзывали по лобовому стеклу. Но то происходило от быстрого движения автомашины: когда же Поля смотрела в сторону, снежинки падали медленнее, лопушистее, лишь у самой земли их подхватывал ветерок, завихривая и вытягивая белыми змейками поперек дороги.

Иван поначалу расспрашивал Полю о том, о сем, шутил, но ей почему-то не хотелось разговаривать, вероятно, от всего пережитого, Иван это скоро понял и теперь помалкивал, сосредоточенно рулил, только изредка взглядывая на соседку, занятую своими мыслями, вел машину осторожно, притормаживая на рытвинах и сбавляя скорость на поворотах.

А Поля чувствовала себя хорошо, все муки и страхи остались позади, на коленях покачивалось крохотное тельце дочери, туго запеленатое, завернутое в мягкое ватное одеяло, Поля чуть-чуть раздвинула краешки одеяла, чтобы дочке было легче дышать, заглянула в её сонное красное личико через образовавшуюся щелку. Иван тоже заглянул, сказал:

- Вылитый Петро. И губами и носом на него похожа.

- Ни на кого она ещё не похожа, - засмеялась Поля, а самой стало приятно от Ивановых слов и она тут же опять пожалела, что едет домой не с мужем. «Где он сейчас?» - подумала о нем. - Далеко всё-таки отправили, а дороги зимние, плохие. Хоть бы съездилось ему удачно. Вон и погода некстати портится...»

От районного поселка они удалились километров на семь, когда под машиной что-то глухо заскрежетало, её штампованный кузов потрясла ощутительная дрожь, а испуганный Иван так резко надавил на педаль тормоза, по-

забыв о Поле, что её чуть не сбросило с сиденья, хорошо ещё, что, защищая дочку, успела она упереться ладонью в приборный щиток. Иван посидел минуту, соображая, потом, не говоря ни слова, выскочил из кабины, упал на колени, заглянул под днище, потянулся туда рукой, что-то подергал, затем встал, приподнял сиденье и достал из-под него сумку с инструментами. Иван торопился, боясь выстудить кабину, и от торопливости не мог развязать промасленные тесёмки, суетился ещё больше и на его растерянном лице сразу же проступили крупные рябины.

- Сейчас, Поля, сейчас, - как бы про себя бормотал он. - Ничего страшного. Я быстро исправлю. Подвесной подшипник вроде бы...

Наконец, он нашел нужные ключи, залез под машину. Поля видела, как он перебирал ногами, лёжа на спине, - то сгибал их, то выпрямлял, загребая свежий немаранный снег войлочными ботинками, стучал ключами и ругался вполголоса. А Поля смотрела на узкий, стиснутый суметами «грейдер», который всё гуще опутывали белые извивающиеся змейки. Невидимые вдали, они ползли из промерзшей насквозь степи, рождались из уплотняющейся поземки, заполняли впадины, опутывали засохшую истрепанную траву, срывались с застругов, взбирались на высокую обочину, похожую на трамплин, беспечно прыгивали с него и, обессиленные заветерьем, рассыпались в прах, уже не махровыми пушинками, а сухим белым песком засыпая эту единственную окрест, накатанную автомобилями и тракторами траншею. И сверху и снизу густела над степью белая мгла, она словно бы мерцала, пронизанная странными мутными отблесками, а ветер усиливался, он теперь дул не ровно, а порывами, словно играл на просторе белый жеребенок, который то пасся около кобылицы, то зигзагами и кругами несся от неё прочь. На короткое время сквозь плотную пелену обрисовалось светлым пятном солнце: Поля посмотрела на часы, показывающие половину третьего, и в груди её на-

чала нарастать тревога.

- Дочушенька ты моя, - загоревала молодая мать, покачивая ребенка. - Хоть бы дядя Ваня исправил поломку, хоть бы дал Бог доехать засветло, не забуксовать где-нибудь. До нашего совхоза восемьдесят километров, а до ближайшей Евгеньевки - шестьдесят. Добраться бы нам домой благополучно, спокойнюшечка ты милая. Там нас бабушка ждет, и папка наш скоро приедет.

В ответ на её мысли девочка пошевелилась, но не проснулась: она и в роддоме всё больше спала, не плакала, только покряхтывала, беспокоилась, когда хотела есть или была мокрой.

В это время из-под машины вынырнул Иван, весь облепленный снегом, с разгоревшимся от холода лицом, и по хмурому выражению Поля сразу же угадала, что поломка серьезная. Иван выплюнул изжеванный окуроч, поплясал, отряхнул с себя снег, сел рядом с Полей, опавнув ее холодом, молча принялся растирать зашедшиеся от стылого металла пальцы. Он морщился от боли, втягивал воздух сквозь зубы, тер посиневшими пальцами о брюки, сцеплял кисть с кистью, переплетал пальцы, выкручивая, дул на них, совал за пазуху, наконец, снял шапку и долго ворошил пальцами свои рыжие волосы. А Поля молча сочувствовала Ивану, понимая, что ничем не может ему помочь. Но через несколько минут пальцы начали отходить, покраснелись, наполнились теплой кровью, напряженное лицо Ивана разгладилось, приняло обычное простодушное выражение, и он горестно выговорил:

- Не повезло нам, Поля. Задний мост поломался... Давно уж я говорил директору, что пора вставать на ремонт. Так нет - поезди немного. Вот и доездили!

- Что же теперь нам делать? - испуганно повернулась к нему Поля, и ее карие глаза стали наполняться прозрачной влагой.

- Придется возвращаться, - нахлобучил шапку Иван. - Машину оставим здесь, а сами вернемся.

- Да куда же? - спросила Поля, и сама смутилась от глупого вопроса.

- Где-нибудь устроимся. Добрые люди пустят, а к плохим мы и сами не пойдём. Я только ключи приберу...

Он снова опустился на дорогу, а Поля торопливо шарил вокруг себя, отыскивая узел и сумку, которые не стоило и брать, если бы не дочка: ведь ей потребуются и пеленки, и подгузники, да и кто знает, когда попадут домой. От нахлынувшего огорчения Поля закусил губу и едва не заплакала, нашарила в ногах пожитки, но не знала, выходить ли ей из машины или ждать Ивана, а он стоял около задней дверцы и смотрел в ту сторону, откуда они ехали, смотрел так внимательно, что и Поля обернулась, только ничего не увидела сквозь замерзшее заднее окно. Она дотянулась, постучала по стеклу ногтями. Иван услышал, всунул в приоткрытую дверцу:

- Машина какая-то идет. Подождём. Авось на буксире дотащит.

Он поспешно уложил на место ключи, и у Поли несколько отлегло от сердца, ее вдруг зазнобило и так мелко перетрясло, что даже волосы выбились из-под шали: видимо, ознобом выходила из нее нервность. Иван подался навстречу машине, и вскоре Поля увидела, как мимо «Уазика» едва протиснулся груженный досками самосвал и остановился в нескольких метрах, тускло мигнув облепленным снежной пылью стоп-сигналом. Тотчас же с его подножки спрыгнул Иван, а следом сошел пожилой шофер в замасленном дубленом полушубке, в шапке с завязанными назад наушниками и в серых валенках, на которых лыжами загнулись глубокие резиновые чуни. В руках шофер держал толстый, свернутый в кольцо трос; вдвоем с Иваном они развернули его, сцепили машины, после чего Иван прибежал со словами:

- Поля, тебе придется пересест в ту машину. Там с ребенком спокойнее будет. А здесь, сама понимаешь, на буксире... Задержат. Давай мне девочку-то...

Он осторожно принял ребенка на протянутые перед собой руки, и Поля за ним скоренько перебралась в кабину настигнувшего их грузовика. При ходьбе ей в низкие полусапожки засыпался рыхлый снег! Она сначала и не заметила этого, лишь когда села рядом с чужим, не обратившим на нее никакого внимания шофером, почувствовала на стопе холодок, но разуться не смогла - руки были заняты, да так и просидела, пока снег не растаял и в полусапожке снова не потеплело. Она видела в зеркало, как Иван помигал фарами, шофер тронул рычаги, они было поехали, но тут же остановились, потому что сзади послышался густой прерывистый рев клаксона.

Примчался запыхавшийся Иван в расстегнутом полупальто и объяснил, обращаясь то к Поле, то к шоферу:

- Заклинило! Задний мост заклинило, мать его за ногу! Колеса юзом тащатся. Разбирать надо, а то все к чертям собачьим порвет. Вот беда какая! Придется, Поля, мне тут остаться, а тебе ехать. Меня ждать не резон. Дело-то к ночи. Я мост разберу, в райцентре переночую. А ты директору передай: пусть за мной, как погода наладится, машину или трактор пришлют. Своим ходом теперь навряд ли. Ты, Поля, меня извини, а ты, друг, будь добр, довези женщину до места. Из роддома она только что. Ладно?

- Ладно, - простуженным голосом сказал шофер, так ни разу и не взглянув на случайную пассажирку. - Отцепляйся тогда. Часом буран бы не разыгрался.

Немного погодя, Иван приволок трос, закинул его в кузов, а Поля опустила стекло и сказала:

- Ты, Иван, сильно-то не рискуй. Не задерживайся. В райцентр иди, пока дорогу совсем не перемело. А я, как приеду, Илье Петровичу сразу сообщу.

- Двигайте, - махнул варежкой Иван. - Счастливо доехать!

Поля тоже помахала ему рукой, а шофер без слов тронул машину, и та, натужно взывая, поползла сперва мед-

ленно, тяжело, а потом все быстрее и легче по пустынной степной трассе. Иван в боковом зеркале уплыл назад, сразу же сделавшись совсем маленьким, а когда он исчез из виду, Поля откинулась было на спинку, распрямила ноги, но в таком положении сильно трясло; тогда она подобрала ноги, вжалась плечом в угол между сиденьем и дверцей, уютилась, а сама нет-нет да и взглядывала с интересом на молчаливого водителя, который вроде бы врос в свое поролоновое седало. За рулем он казался ей ниже ростом, расплывчатее: его небритое за командировку лицо осталось неподвижным и вроде бы равнодушным, на нем двигались только большие выпуклые глаза, внимательно следя за дорогой, да крепкие, даже пухлые, как у женщины, но покрытые жесткими волосами руки облаписто держали баранку, плавно ее поворачивая в ту или иную сторону, не более чем на пол-оборота. Как будто этот человек был неотделим от машины, сливался в одно целое с нею: туловищем с сиденьем, ногами с педалями, а руками с баранкой. И, наверное, поэтому машина во всем слушалась его, двигалась то скорее, то тише, мотор то напрягался в своем неутомимом стремлении, то работал однообразно и ровно.

Так думала Поля и чувствовала себя лучше, поспокойнее с этим флегматичным, наверняка, уверенном в себе человеком, ей вдруг захотелось выговориться, но она не решалась.

Только опять пожалела, что рядом с нею не муж, такой разговорчивый, хохотливый, хороший. Так и ехали они долгое время, пока не завозилась в своем коконе дочка: она подала хриплый голосишко. Поля сунула под одеяло руку, пощупала там и, так как пеленки оказались сухими, глянула просительно на водителя и начала торопливо расстегивать пуговицы пальто, затем ворот специально сшитого свекровью к такому случаю платья.

Шофер каким-то образом почуял ее просительный взгляд, остановил машину и уставился в замершее с его

наветренной стороны стекло, но если бы даже сейчас он смотрел на Полю, она, как ни странно, совершенно не чувствовала прежней девичьей стыдливости, кормила ребенка грудью, подавливая ее пальцами, любовалась личиком дочери с нежностью и обожанием, была занята лишь ею и ничуть не стеснялась чужого человека. Девочка сосала жадно, прищипывая сосок деснами, бессмысленно помигивая глазками и ее безбровое невыцветшее личико вызывало у Поли волну такой радостной жалости, такого огромного счастья, что у нее даже першило в носу и какой-то мягкий комочек подкатывался из глубины груди к горлу. Неизвестно отчего, Поля волновалась и в этом волнении косилась на шофера, который сидел все в той же невозмутимой позе и беззвучно барабанил пальцами по обмотанной синей изоляцией баранке. А когда девочка насытилась и Поля, закутав ее, привела в порядок одежду, он также равнодушно повернулся, поерзал на красном кожаном сиденье, и грузовик снова заурчал, то гладко катясь по рубчатому накату, то с трудом проталкиваясь через вытянутые косыми волнами переметы. Они наискось вклинивались в дорогу, удлинялись от бровки к бровке, их закругленные хребты незаметно ширились и росли, а степной воздух все больше мутнел от летящего из сплошных облаков снега, просвечивал пугающей желтизной, и ранние сумерки сгустились над неприютной степью.

Вроде бы не было ничего особенного в этой обычной для здешних мест снежной и ветреной погоде, но шофер с молчаливым беспокойством поглядывал по сторонам, прибавлял газу, и взбитая колесами снежная пыль то и дело замутняла лобовое стекло, налипала на него и таяла, превращаясь в мелкие дрожащие капли воды, которые перед водителем смахивал включенный стеклоочиститель. Перед Полей же стеклоочиститель не работал, поэтому ей волей-неволей приходилось наклоняться к шоферу, чтобы посмотреть вперед. Она и сама не замечала, как наклонялась, тянула шею, а потом спохватыва-

лась, смущенная, выпрямлялась и некоторое время сидела так, но проходило несколько минут - и помимо ее воли все повторялось.

Где они ехали, Поля не знала, потому что белая крупа завивалась и сверху и снизу: уже в пяти метрах ничего нельзя было разглядеть. Слева переносы тянулись уже по несколько метров, а и без того узкая дорога все сужалась, прижимая самосвал к высокой правой обочине. Сумерки быстро переходили в темноту, как будто степь накрывали гигантским скатанным из серой верблюжьей шерсти покрывалом. Шофер включил фары, и снопы яркого света отчетливо высветили снежную сумятицу, белую непрерывную карусель, в свете казавшуюся плотной непробиваемой стеной, в которую радиатором уперлась машина, и, если бы она не качалась, не прыгала, не выла от натуги, то можно было бы подумать, что они стоят на месте, не движутся в загустевшей с темнотой метели.

Вскоре шофер повернул по ветру, и десятка полтора километров они мчались по чистому, словно выметенному специально для них «грейдеру»; теперь снег обтекал машину сзади, стекла очистились, и Поле казалось, что их неудержимо тащит в какую-то громадную черную трубу, в мрачную бездну, откуда никогда не будет возврата. От таких мыслей стало не по себе и, чтобы не видеть всего этого, она закрыла глаза, и ее укачало: она задремала, все окружающее выпало из памяти, лишь в ушах оставался монотонный баюкающий шум мотора - он то пропадал, то возникал вновь.

Очнувшись Поля от легкого толчка и увидела, что перед самым ее лицом колышется тюлевая занавеска; Поля пришла в себя и поняла, что машина буксует в очередном высоком заносе, движется еле-еле, а шофер приклонился к самому рулю и напрягся, своим напряжением вроде бы помогая продвигаться вперед грузовику. И тот продвинулся, покатился свободнее до очередного наноса. И так подряд: то медленнее, то быстрее, но без остановок,

без долгих задержек по рыхлому, несслежавшемуся снегу, по твердому пути, то прижимаясь к бровке и царапая ее кузовом, то двигаясь посреди выдутой ложбины, преодолевая пологие подъемы и спуски, оставляя позади не сочитанные никем виражи.

Раза два шоферу приходилось останавливаться, сдавать назад, чтобы с разгону промять колею, но замешкались они ненадолго: шофер каким-то особым, непонятным для Поли чувством угадывал слабые в заносах места, по которым самосвал проскакивал с ходу, разбивая белые валы напористой десятитонной тяжестью, двигаясь со всей мощностью восьмицилиндрового двигателя, а Поле казалось, что это не самосвал, а корабль, плывущий навстречу буре по бурному штормовому морю. Однажды она отдыхала в Алупке, их возили на теплоходе, ночью от качки ей становилось плохо. И сейчас тоже было плохо от бурного однообразия, от мельтешения бесчисленных, кружащихся в стремительном полете снежинок, от переживаний за дочь, за мужа, от бесконечной ночной дороги и от молчания, ведь за все прошедшее время они не перекинулись ни единым словом. Это Полю, как почти всякую женщину, начало тяготить, и она не вытерпела, вроде бы про себя сказала:

- Господи, метет-то как! Ни зги не видно. В такую ночь добрый хозяин собаку из дому не выгонит, не то что пускаться в дорогу. У меня муж-то тоже шофер, вчера в Курган за каким-то срочным грузом уехал...

- А-а, - мельком посмотрел на нее шофер, улыбнулся и больше не произнес ни слова. Но Поля была рада и его улыбке, не обиделась на невнимательность: как же - человек занят, ему не разговоры вести, впору следить за дорогой.

- Он у меня на «ЗИЛе» работает, - продолжала она. - А «ЗИЛ» старый, на будущий год должны его списать. Как бы не поломался где. Вот еду с Вами, а сама беспокоюсь, переживаю. Долго ли до беды в такую ночь. Вы, мужики,

уедете, а мы, бабы, волнуемся. Вот и вас, наверно, тоже дома жена ждет не дождется, - все-таки снова попыталась Поля вызвать своего спутника на разговор, но он у них не налачился, так как машина вновь забуксовала и не двигалась, несмотря на то, что мотор работал на полной мощности. Шофер переключил передачу, попробовал проехать назад, но и назад машина не шла, видимо, глубоко увязла всеми скатами. Тогда шофер попытался выбраться, раскачивая машину, то прибавляя газу, то сбавляя, только и эта попытка не увенчалась успехом: самосвал дергался то вперед, то назад, но оставался на месте, и чувствовалось, как под колесами похрустывает, оседая, уже затвердевшая снежная крупа.

- Завязли! - проговорил шофер, сдвинул со лба ушанку, равнодушно посмотрел на Полю - в глазах его промелькнул отраженный от белой завесы свет, - и она увидела перед собой усталого сорокапятилетнего человека с прорезанным четырьмя глубокими морщинами высоким лбом, с обветренными, сурово сжатыми губами.

Ему бы смотреть телевизор, беседовать с женой и детьми, ожидать сытного ужина, а не болтаться в ночной степи на загруженном тесом автомобиле рядом с чужой незнакомой женщиной, только что выписанной из родильного дома.

- Придется покопать, - перехватив тревожный взгляд Поли, неожиданно повеселел он. - Ничего, выберемся! Не впервые. Вы ребенка-то укутайте, как бы он холодного воздуха не хватил...

Говоря это, шофер достал из ящичка стеганые рукавицы, натянул их на руки и быстро, с необыкновенной для своей грузной фигуры подвижностью выпрыгнул из кабины. Теперь машина работала на самых малых оборотах, Поля услышала, как за стеклами свистит ошалевший ветер, как с унылым царапаньем бьется о жезь крупный, острый, словно песок, снег, а ветер пробирался в каждую маломальскую щелочку, выдувал тепло и погромыхивал

расхлябанным темно-зеленым капотом. Иногда ветер скулил бездомным, некормленным щенком, иногда свистел соловьем-разбойником, иногда дудел в медную оркестровую трубу, но как бы ни менялся его заунывный голос, в нем постоянно звучало что-то недоброе и печальное, как зауспокойная молитва.

Шофер не показывался минут десять, видимо, откапывал задние колеса. Потом Поля увидела, как он прошел несколько метров по ходу автомашины, постоял, отворачивая лицо от секущих струй, между двумя наносами потыкал снег совковой лопатой, вернулся и стал очищать снег перед передними колесами. Он поддевал его широкими гребками и, не разгибаясь, отбрасывал в сторону по ветру, а снежная пыль каруселилась над ним и оседала на его шапку, на рукавицы, отчего человек на глазах белел, превращался не то в Снеговика, не то в Деда Мороза. Иногда он выпрямлялся, снимал рукавицу и стирал согнутым пальцем обмокровший снег со своих густых бровей, потом опять принимался прокапывать две параллельных канавы. Их тут же опять засыпала метель.

Но шофер неумоимо делал свое нелегкое дело и, наконец, управился, похлопал по полам полушубка, ударил об руку шапкой, чтобы стряхнуть налипший снег, прибрал лопату, и они тронулись, протаранивая косые валы с разгону.

- Давай дружок, давай, - словно живому, разумному говорил человек самосвалу, - вызволяй нас из этой сумятицы.

- Нам бы хоть до Евгеньевки добраться, - сказала Поля. - Там у меня тетя живет, можно переночевать.

- Э-э, - протянул, тряхнув головой, шофер. - Евгеньевку мы уже проехали. Теперь что до нее, то и до вашего совхоза...

- А я и не заметила, — пожалела Поля, - снег и снег кругом. Все свороты задуло...

Не проехали они и ста метров, как снова забуксовали,

и теперь шофер расчистил дорогу не сразу: он то вылезал из кабины, то снова садился за руль, пока не перевалил длинное препятствие и оба они не вздохнули облегченно, понимая друг друга по глазам. Потом застряли еще раз, потом раз за разом, подряд, потому что снегу наносило все больше, он спрессовывался, и дорога становилась непроезжей. Шофер замаялся копать снег, сбросил полушубок, оставшись в вельветовой безрукавке, подбитой искусственным мехом, а когда садился рядом с Полей, то тяжело дышал, стаскивал шапку, ерошил мокрые, слипшиеся сосульками волосы - и от него привычно для Поли пахло бензином и потом.

- Вот червивая твоя голова! - беззлобно ругался шофер. - Сровняло обе обочины...

- Вы бы оделись, - говорила ему Поля. - Простудитесь. Потный, да на ветер...

- Ничего, - выдыхал тот. - Ты ребенка укутывай. Я всю кабину просквозил.

Поля беспомощно следила за всеми его действиями.

Шофер видел это, пробовал вырвать машину из очередного сугроба, газовал, манипулировал сцеплением, потом выскакивал, продолжал рыть следующую по счету канаву, переживал за незнакомую женщину с ребенком, хоть и старался скрыть это, переживал до злости, до отчаянности и почти полтора часа не хотел сдаваться, с каждым разом продвигаясь на сотню, а то и на две сотни метров. Он уже действовал, как автомат: вылезал, копал, снова садился в кабину, ехал, потом вылезал опять и так до последнего мига, пока хватило сил. Он все-таки выдохся после самой тяжелой запарки, сел, положил на колени парившие руки и долго сидел так, набираясь сил и успокаивая прерывистое дыхание. А Поля ждала, когда он заговорит. Она не знала, что им делать дальше, и хоть не хотела думать ни о чем плохом, все же в уме предполагала самое худшее. Так оно и оказалось, потому что шофер сказал:

- Дальше не проехать...

Он помолчал, а Поля, огорошенная его словами, совсем пала духом, не смела заговорить, осталась без мыслей в голове и лишь в смятении покачивала на коленях дочку. Шофер вынул из внутреннего кармана измятую пачку сигарет, долго выбирал целую, наконец выбрал, но не закурил, а с зажигалкой в руке внимательно посмотрел на Полю, и от его пристального взгляда она опомнилась, приободрилась, взяла себя в руки.

- Вы закурите, - торопливо проговорила Поля. - Она еще никаких запахов не разбирает. А я привычная. У меня муж тоже курящий.

Тогда шофер прикусил сигарету зубами и прикурил, осветив зажигалкой кабину, после чего чуть-чуть опустил стекло, чтобы табачный дым вытягивало на волю. Курил он с наслаждением, глубоко затягивался и, видимо, испытывая от этого облегчение, расслабился, отдыхал, пока не высосал сигарету, потом погасил ее о валенок, выщелкнул в окно и вдруг сказал:

- Придется идти за трактором...

- Да что вы! - с испугом воскликнула Поля. - В такую-то ночь! Да зачем же?

Она, как и всякий степной житель, знала неписаный целинный закон - в одиночку зимой не пускаться в дальний путь, ездить только группами, а уж если застигнет в степи буран, не уходить из машины, держаться у дороги и ждать конца непогоды или помощи. Немало смельчаков, по бесшабашности или по глупости поступившихся этим законом, погибло в казахстанской степи, поэтому Полю так испугало столь опрометчивое решение этого, по всей вероятности, умудренного жизнью человека.

- Что вы, что вы! - убежденно заговорила она, вглядываясь ему в лицо, - Буря-то - хоть в глаз коли. Ничего не видно. Куда же вы пойдете? Уж лучше в машине переждать до утра. Зачем же вам рисковать?

Говоря так, Поля была убеждена, что шофер послуша-

ется ее совета, и они вместе прокоротают время, пока не наступит рассвет, все же двое - не один, а один в поле не воин. Только вопреки ее убеждению, шофер сказал:

- Вы за меня не беспокойтесь. Мы-то с вами переждем, хоть неделю сидеть будем, а она? - и он кивком головы указал на девочку. - Вы за нее бойтесь. У вас, наверное, пеленок то на одну смену, а потом что? То-то и оно, - укорил он, увидев, как поникла от его слов Поля. - Вы хоть машину-то заводить умеете?

- Умею, - ответила она. - Петя научил. Я и ездила.

- Вот и хорошо, - перебил ее шофер. - Сейчас я заглушу мотор, а вы, как начнет в кабине холодеть, запустите его. Погазуете, нагоните температуру. Это чтобы вода не замерзла в радиаторе и вам было тепло. Машину я развернул, теперь ветер в спину, не так выдует. А как нагреете в кабине - глушите. Буксовали мы долго, не знаю, сколько в баке бензина осталось...

- Ох, зачем я только сегодня поехала? - не дослушав его, осознав свое незавидное положение и испугавшись за судьбу дочки, заревела Поля. - Господи! Сама с ребенком мучаюсь, вас мучаю. И что теперь с нами будет?

- Не плачьте, - положив на руку Поля свою теплую ладонь, отечески сказал шофер. - Все будет в порядке, лук будет на грядке, и Ворошилов на лошадке, - пошутил он. - До вашего совхоза недалеко осталось. Дорогу я знаю, пятнадцать лет по ней езжу. Найду дежурный трактор - и сразу обратно. А вы делайте, как я сказал. И фары ненадолго, минут через десять, включайте. Для ориентировки.

- Не ходили бы вы, - еще раз попыталась остановить его Поля, но он уже застегнул на все пуговицы полушубок, завязал у подбородка наушники шапки, хотел было выходить, но задержался и под рулем неловко стянул с валенок чуни.

- Оставляю, а то в снегу потеряются, - пояснил он Поле, задом выпятился из кабины, с улыбкой кивнул, хлопнул дверцей, зашел вперед, поправил чехол на решетке ра-

диатора, ступил несколько шагов в сторону, по колено увязая в снегу, и вдруг исчез в темени, пропал за чертой света, словно провалился в пропасть.

Поля прижалась лбом к стеклу, попробовала хоть что-нибудь рассмотреть, но ничего не увидела, кроме мрака и снега. Она осталась наедине с дочкой, думала о ней, о муже, обо всех сразу и чувствовала себя такой несчастной, что не могла сдержать слез и молча плакала, роняя крупные капли на дочкино оранжевое одеяло, перевязанное ярко-зеленой шелковой лентой, переставала на миг, но опять едкая горечь скапливалась в носу, и слезы сами по себе текли по ее щекам, попадали на губы, она слизывала, глотала их, а сама покачивалась и всхлипывала, как ребенок. А когда наплакалась, вспомнила наказ шофера, выключила бесполезно горящие фары, и в кабине стало так темно, что Поля не различала собственных поднесенных к лицу пальцев. От этой непроглядной темноты ей стало жутко, но она пересилила боязнь, крепче прижалась к себе неощутимое дорогое тельце и замерла, слушая, как беснуется за тонким стеклом ветер. Постепенно она привыкла к темноте и перед нею забрезжило что-то вроде света, как будто светился летящий снег, но этот отблеск был настолько слаб, что не очерчивал даже окантовку стекол. Поля недоверчиво потрогала ее, а потрогав, убедилась, что стекло на месте, невесело посмеялась над собой и вдруг со стыдом поняла, что совсем забыла о шофере, который ради них с дочкой ушел в эту буйную круговерть.

«Только бы он дошел до совхоза, - с болью в сердце подумала она. - Только бы дошел. Не дай Бог, какой случай, погибнет из-за меня человек. Вот дядя Федя Вахромеев пошел в прошлом году выпивши на ферму сторожить и заблудился, замерз за огородами. Тоже буря была. Не дай бог... что я тогда буду делать?»

Но почти тотчас же незаметно для нее самой ее мысли перекинулись на другое: она размечталась о муже, о

том, как он приедет домой, как обрадуется, что и жена, и дочь дома.

Припомнила Поля и о других, которые придут поздравлять счастливых родителей с дочерью, представила, как с Петей поедут регистрировать рождение малютки, которую назовут по общему давнему согласию Леной. И, мечтая так, Поля закрыла глаза; на щеках ее высохли слезы стягивая кожу, поэтому она вытерла кромкой пододеяльника лицо, высморкалась и прислушалась к частому дыханию дочурки. Девочка спокойно спала, из отверстия в одеяле веяло теплом, неповторимым запахом запеленатого ребенка и, учуяв этот желанный запах, Поля склонилась ниже, вдыхала его с замиранием сердца и никак не могла перестать.

«Радость ты моя единственная, - уже без слез всхлипывала женщина. - Родненькое ты мое чудо. Малютка ты моя непонятливая. Спи себе спокойно. Мама твоя с тобой, и она тебя не даст в обиду. Ни ветру, ни буре, никакому злу. А доберемся до дому, она тебя выкупает, уложит в кроватку, и будет нам хорошо, тепло... хорошо, тепло... хорошо... тепло... хоро-шо... теп...ло...»

Только эти два слова остались в мозгу Поли и звучали, звучали там, пока не уплыли куда-то, не угасли в дремотном оцепенении. А сколько оно продолжалось, Поля не знала, только очнулась, когда особенно громко стукнула в кузове раскачанная ветром тесина. Поля сразу же вспомнила о шофере, включила фары, вспыхнули на приборном щитке контрольные лампочки, осветили стрелки приборов, и на термометре Поля увидела, что мотор еще не остыл, видимо, дремала она совсем пустяк, просто забылась, измученная поездкой. Она долго вглядывалась в снежную мглу, прислушивалась, не донесется ли от-туда долгожданный звук тракторного мотора, но за начавшими затягиваться матовой пленкой стеклами куролесил один лишь бедовый ветер.

Вскоре в просторной кабине начало выстывать. Поля

почувствовала это обнаженными руками. Тогда она передвинулась, уложила девочку на то место, где сидела сама, подсунула ей под бочок вынутый из сумки халат, чтобы дочка, чего доброго, не скатилась, и как учил ее муж, нашарила правой ногой педаль акселератора, а левой повернула ключ, мотор зажужжал, машина от этого начала подрагивать, словно и она тоже продрогла на морозе, но вот двигатель фыркнул, заурчал и заработал спокойно, в хорошо отлаженном ритме.

Поля сразу же опустила ключ, а педаль прижимала все крепче и крепче, пока мотор бешено не завыл, не набрал силу. Так она повторила несколько раз, минут около десяти, пока стрелка термометра снова не подползла к зеленой отметке, пока от водяной печки не потянуло приятным, успокаивающим теплом. Поля остановила двигатель, погасила фары, взяла на руки дочку и снова замерла в томительном ожидании, невольно напрягаясь от каждого звука и стука.

«Где-то шофер теперь? - жалостливо вздыхала она. - Человек-то уж немолодой, одышка у него. Ушел, а я даже имени его не знаю. Эх, если бы не ты, доченька, и я бы пошла с ним. Вдвоем веселее и легче. Один потеряет дорогу - другой найдет. Словом хоть можно перекинуться, перекликнуться ли. А одному ему сейчас, ох, как горько. Буря-то не перестает, а вроде еще сильнее разыгрывается. Ишь как потряхивает машину! И зачем только я, дура, согласилась. Как-нибудь перебились бы до утра, а там, глядишь, бульдозеры стали бы дорогу чистить. Не выходной же завтра, все равно кто-нибудь куда-нибудь поедет».

Вдруг Поля почувствовала, что в степи кто-то кричит, как будто недалеко и протяжно. Она затаила дыхание, вслушалась, вся обратилась в слух, потом свободной рукой опустила стекло и высунулась из кабины. Ледяная крупа больно плеснулась ей в лицо, забила глаза и ноздри, посыпалась внутрь, и все-таки минуты две Поля про-

сидела, прищурившись, дыша хлестким снегом, но ничего не рассмотрела и не расслышала в беспрерывных толчках метели.

«Показалось, - успокоила себя Поля. - Это ветер стонет».

Но на всякий случай вновь завела машину, включила фары и мигала светом до тех пор, пока не убедилась, что в округе никого нет, что за человеческий крик она действительно приняла шум ветра. На какое-то время, увлеченная, она забыла о дочке, а когда посмотрела на нее, девочка шевелилась в своем тесном свертке, изгибалась, недовольно кряхтела, потому что, как оказалось, лежала в сырых пеленках. Поля без промедления хотела развернуть ее, но одумалась, сперва достала присланные мужем запасные пеленки, повесила две из них к теплему воздуху, нагрела, поддержала у отопителя руки, затем развязала ленточку, распахнула одеяло и прямо на сидении, сноровисто и быстро, как будто всю жизнь этим занималась, перепеленала ребенка. Девочка не успела даже гукнуть, брыкнуть ножками, как оказалась обернутой теплой сухой фланелью внакладку с ситцевой пеленкой, мать начисто вытерла клеенчатый подгузник, притянула еще одной, пеленкой поуже и завернула дочку в одеяло, точно так же, как она была завернута.

- Ну вот, моя крошечка, - сказала довольная собой Поля, развешивая на щитке мокрые пеленки, - мамка скоро тебя управила, не застудила. Теперь молочко пососешь и опять баиньки будешь.

Девочка сладко зачмокала, а Поля запела колыбельную, перемешивая слышанные от других и придуманные самой слова. А когда накормила и укачала дочку, опять раздумалась о шофере, хотела представить, где тот сейчас, и не представила, потому что сном-духом не ведала, где сама находится, и не сказала бы - за пять или двадцать пять километров от совхоза она осталась.

Вообще-то Поля не впадала в отчаяние, то первое смятение прошло, и она почему-то не могла предположить,

что шофер не доберется к людям, что он может заблудиться, обессилеть в борьбе с бурей, замерзнуть в огромной степи - это было так неестественно, так противно ее жизнелюбивому доброму сердцу, так не вязалось с уверенной, сильной фигурой ее невольного спасителя. Где-то в глубине сознания мысли о возможности этого мелькали, но мелькали как что-то нереальное, недопустимое: Поля не позволяла им завладеть собой, думала то об одном, то о другом и так в этих переживаниях измучилась, что незаметно ее сморил более или менее крепкий сон.

А во сне ей приснилось, будто сидела она в просторной холодной комнате на шатком стуле, перед окном, а в него светило яркое-яркое солнце, даже глазам больно. Поле надо было поднять руки, загородиться, но руки налились непомерной тяжестью, и во всем теле не было сил, чтобы двинуться, скрыться от холодного, невыносимо слепящего света. Поле хотелось закричать, позвать на помощь, но голос пропал, она вроде бы мычала что-то нечленораздельное, а в уши вривался откуда-то из пространства оглушительный грохот.

Вот от этого-то грохота Поля проснулась и, плохо понимая происходящее, открыла и тут же закрыла глаза, вздрогнула и обрадовалась: перед самым радиатором самосвала стоял трактор. Его мощные фары светили ей прямо в лицо. Поля прикрылась ладонью, но трактор стал разворачиваться, меня гусеницами снег. Она окончательно скинула сонную одурь, тоже зажгла фары, и в этот момент приоткрылась дверь. Поля увидела перед собой веселое лицо целого и невредимого шофера.

- Как вы здесь? - белым паром выдохнул он, но не стал ждать ответа, а, убедившись, что с Полей и ее дочкой ничего не случилось, слазил в кузов за тросом и лишь тогда, когда прицепил машину, когда сел за руль, спросил еще раз:

- Ну, как?

- Вы-то как? - спросила Поля, и ей захотелось запеть, закричать от радости, броситься шоферу на шею и рас-

целовать его щетинистые щеки за то доброе, что он совершил для них с дочкой.

- Помаленьку, - засмеялся шофер. - По бровочке. Где на ногах, а где на четвереньках. Бровка-то твердая, высокая, ее не заносит. Вот я и шел ощупью. Влево ступлю - провалюсь, вправо - тоже снег мягкий. А где сомнительно станет, руками нащупаю. Так вот и шел. Замерзать-то и мне не охота.

- Как я вам благодарна! - тихо проговорила Поля. - Век вас буду помнить.

- Да ладно вам, - грубовато сказал шофер, замолчал и до самого совхоза не произнес ни слова, несмотря на Полину разговорчивость. Он или кивал в ответ на ее слова, или просто молчком взглядывал на нее.

А Поля смотрела, то в одну, то в другую бровку, стараясь увидеть оставленные им следы, но их уже зализал бессердечный ветер.

- Вы переночуете у нас, - твердо сказала Поля, когда остановились около их дома, и она передала дочку свекрови, проглядевшей все глаза в ожидании снохи и внучки и простоволосьем выбежавшей за ворота. - У мамы поесть сготовлено, и водка у нас найдется. Погрееетесь. А утром поедете, если буря стихнет.

- Спасибо, - отказался шофер. - Вам сейчас не до гостей будет. А меня товарищи ждут. Отстал я от них, пока грузили. Мы из Каменск-Уральского совхоза. И трактор этот наш. Он нас сопровождать будет. Так что к утру и мы до дому доберемся.

- Скажите хоть: как вас зовут? - спросила Поля, но шофер то ли не захотел отвечать, то ли не услышал, закрыл кабину, и машина вслед за С-100 поползла широкой безлюдной улицей.



СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Заиграла с полудня январская непогода, задвинула небо тяжелыми низкими тучами, за клубила сизую мглу, перемешала, словно пшеничную кашу в огромном котле, потом растерзала на мелкие крупинки, заморозила и теперь бросала их с высоты в буйный ветер густым и колючим снегом.

Закручивалась пронизывающими спиральями белая пелена, косо хлестала со студеного севера, то редела, то уплотнялась до непроглядности, расстилалась полосами, свивалась в стремительно увертливые жгуты, которые то вздыбливались на чистом поле просторе тысячеголовыми ослепленными чудовищами, то опадали, рассыпавшиеся в прах, остановленные, разбитые встречной лесной преградой.

А ветер то стихал, обессиленный плотным ледяным крошевом, не в силах продуть, протолкать его между землей и небом, то раздувался, гнусаво высвистывая в раскаченных проводах, ветвях стылых деревьев и печных трубах. Его монотонная дикая музыка наводила тоску, обрушивалась всплесками адских звуков на все живое и неживое, заставляя вздрагивать попрятавшихся в укромных местах зверей и птиц, а жителей маленькой, затерянной в зауральской глуши деревеньки - испуганно поглядывать на оконные стекла, жалобно вибрирующие под напором вьюги.

Валом валившийся снег заравнивал тропки и дороги, укрывал подернутую наледями речку, заметал изгороди,

постройки, дома, свирепо скрёб шершавые от времени деревянные стены, полируя их, как гигантская пескоструйка.

В эту непозднюю пору почти все окна в деревне были освещены, и когда снег редел, то со стороны казалось, что деревня двигалась, плыла в невообразимо бушующем снежном море, в клубящейся круговерти. В домах шла самая обычная деревенская жизнь: люди ужинали, пили чай, смотрели телевизор, топили печи, и вытолкнутый жаром из боровиков дым тут же слизывался с высоких шиферных крыш и без следа растворялся в лихом дуване.

... В круглой, обтянутой листовым железом «голландке» жарко горели березовые поленья, воздух с хлопаньем засасывался в овальное поддувало, отчего побрякивала чугунная дверца, и пламя то отскакивало от поддувала, то желтым языком вытягивалось к нему, вроде бы печка дышала, как в знойный день измученная беготней собака.

Перед печкой на табуретке сидела старая женщина. Видимо, она только что разожгла дрова и задумалась, разморенная близким теплом, скрестив на коленях руки. На ее подшитых валенках поблескивали капельки воды, плюшевая жакетка была еще расстегнута, а голову покрывала вперекрест завязанная шальюшка.

Женщина, не мигая, смотрела в поддувало, замороженная пляской стремительного огня; его отблески вспыхивали в ее неподвижных зрачках, проскальзывали бледными зайчиками по грустному лицу, плотно сжатым впалым губам и по всей ее старческой неподвижной фигуре.

Много жарких лет и буранных зим отыграли, отбушевали над этой женщиной, обсушили, обветрили, выжелтили ее руки с узлами проступающих сквозь кожу вен, покрыли частой сеткой морщинок лицо, отбелили волосы, согнули, сгорбатели некогда стройное и сильное тело, сделали худыми ноги, отняли здоровье, молодость, кра-

соту и оставили одну в этом маленьком, покосившемся пятистенке. Жизнь вспыхнула, как огонь в печке, занялась, разгорелась, отпыхала ярким пламенем, отгудела, отмелькала на потрескивающих головешках и теперь долгела постепенно гаснувшими угольями, покрываясь теплым, но уже рассыпающимся в золу пеплом.

Под потолком, покрашенным в голубой цвет, помигивала сорокавольтная электролампочка и скупое освещала небольшую уютную горницу, застланную дорожками домотанных половиков, стол под льняной магазинной скатертью, старинный комодик с резными дверцами, могучий фикус в переднем углу, две иконки на божнице, низкий диван у фикуса и напротив - кровать с двумя высоко взбитыми подушками, заправленную розовым покрывалом.

На диване лежал корноухий толстенный кот, но и он вскоре почуял тепло, поднялся, выгнув дугой спину, потом прыгнул на пол, потянулся, осев на вытянутые передние лапы и, царапнув по половику острыми когтями, подошел к хозяйке, потерся об ее валенки и, задрав пушистый хвост, замурлыкал.

Женщина очнулась и стала развязывать шаль. Развязала, сняла, открыв совершенно седые волосы, свитые в узелок на затылке; затем расстегнула жакетку, разделась, оставшись в вязаной кофте, надетой поверх однотонного широкого платья, и повесила снятую с себя одежду на вбитый в известковую штукатурку гвоздь. Постояла минуту сгорбленная, трудно нагнулась, чтобы стянуть валенки, но раздумала и пошла в них в соседнюю комнату - кухню, где перед челом русской печи закипел, пофыркивая, подбрасывая крышку, пузатый электрочайник. Женщина выключила его, прикоснулась к ослепительно сверкающему боку, тут же отдернула ладонь, лизнула прижженное место, затем прихватила чайник полотенцем и перенесла на стол, покрытый зеленой, как молодая капуста, клеенкой. Достала из посудного шкафчика заварник, жестяную банку с чаем, сполоснула заварник, сыпнула в

него из баночки, посмотрела - достаточно ли, залила кипятком и прикрыла продолговатым кусочком белого домашнего хлеба.

Пока чай напевал, женщина приготовила фаянсовую чашку, расписанную яркими сказочными цветами, сахарницу, полную зернистых пиленок, раскрошила одну щипчиками и начала чаевничать, смакуя в беззубом рту сахар, неторопливо помешивая ложечкой заваренный душистый напиток и попивая его маленькими глотками. Она поднимала чашку обеими руками, грела их, и сама согревалась тоже, разомлела, даже раздумянулась дряблыми бугорками щек от горячего чая, а на лбу мелкими бисеринками появился пот. Женщина вытерла их все тем же полотенцем, передохнула, прислушалась к непогоде, немного отодвинула шторку, но увидела только затянутое изморозью стекло и налила еще чашку, над которой вспорхнула и растаяла легкая дымка - прозрачное облачко пара, взлетевшее к потолку.

На кухню пришел и кот, уселся перед столом и мяукнул неестественно тонким для такого толстяка голосишком.

- Ну, что, Мурзик, - ласково проговорила женщина, - и ты есть хочешь?

Она взяла тот кусочек хлеба, которым накрывала заварник, отломилась половинку, помочила его в чае, подула, чтобы остудить, и положила на алюминиевую тарелку, поставленную на полу для кота. А он благодарно кружнул возле хозяйкиных рук, посмотрел на нее большими, с прозеленью глазами, лапой вытянул угощение из тарелочки на пол и стал есть, не то с урканьем, не то с хрипом.

Женщина недовольно тронула неопрятного кота валенком, опять вернулась за стол, допила чай и некоторое время сидела, как бы отдыхая, подперев голову ладонью и слушая, как поскрипывает ставень. Ослабла веревочка, притягивавшая его к простенку, и он скрипел - мелко, визгливо, словно за окном посвистывала неизвестно откуда прилетевшая в эти снежные края, сиротливая и

простуженная птица. «Пиу-пив, пив-пив, пиу-пив-пив-пив», - горько жаловалась она за стеною дома, и ее вибрирующий печальный голос невольно заставлял прислушиваться к нему, вызывая в душе человеческой непонятную тревогу.

Растревожная женщина прибрала на кухне, дала еще кусочек разохотившемуся к еде коту, потом пошарила в шестке и с железной кочережкой, истонченной огнем и временем, вернулась в горницу, присела на корточки перед заслонкой, кочережкой отворила ее, чтобы помешать дрова. Но мешать не пришлось - дрова не раскатились, горели дружно, объятно; женщина, щурясь от плеснувшего ей в лицо жара, быстро закрыла топку, поднялась, опираясь на кочергу, переставила табуретку и прислонилась к потеплевшей печке спиной. Старые, побаливающие к ненастью кости хотели тепла, но его в доме не было - выдул ветер, а печка еще только нагревалась.

И женщина не выдержала, снова накинула на плечи шаль, покопалась в комод, выложила оттуда клубок шерстяной пряжи и спицы с начатым на них носком. Затем достала из ящика очки, надела их, и сразу же выражение простого крестьянского лица изменилось: оно хоть и обрело некоторую выразительность, уширилось, зато стало каким-то непроницаемым и холодным. Но женщина этого не знала, устроилась на прежнем месте, оттянула подол платья, чтобы из него не выпал клубочек, передвинула петли и начала вязать, то и дело проворно передергивая отполированные до блеска спицы.

Вязала она податно, хотя и не торопилась; ромбическая основа носка поворачивалась то одной, то другой гранью, пряжа сматывалась с клубка, а насытившийся кот степенно следил за привычными движениями хозяйки.

Женщина вязала, чуть-чуть пожевывая губами, вероятно, считала петли, сноровисто поддевая их, а через один-два кружка то потягивала почти готовую ребристую резинку, то разглаживала ее на коленях узеньким пирож-

ком ладони. Через некоторое время она устала, опустила вязанье между колен, сняла очки, заложила руки за спину, прижала их к теплой боковине «голландки», спиной плотнее прижалась к ней, закрыла глаза и долго оставалась неподвижной.

Так прошло много времени. То ли женщина задремала, то ли о чем-то задумалась, но за эти минуты не пошевелилась, не передвинулась, пока от печки не начало припекать, тогда она отняла от нее горячие ладони и провела ими по лицу, словно сгоняя дрему.

В топке громко щелкнуло, оттуда выбросило огненные брызги, и кот настороженно приоткрыл глаза. А женщина с неохотой оторвалась от печки, взяла кочергу, подцепила за вертушку заслонку, отпахнула ее и разворошила головни, распавшиеся на ослепительные, мерцающие синим огнем угли. Затем сдвинула в кучу, оттеснила к печной стене, винтом плотно заперла дверцу и наполовину задвинула вьюшку, чтобы вытянуло угар.

А на улице уныло завывала метелица, и от ее горестных вздохов, стенаний, воплей становилось не по себе: и так-то плохо одинокому старому человеку, без родных и близких, не к кому приклонить голову, не с кем поговорить о своих печалях, отвести душу в семейной беседе, некому в своем доме помочь и не от кого ждать помощи, а тут еще эта бешеная непогода - и к соседям-то не сходишь, и к тебе никто не потащится среди бурной ночи.

Так, наверное, размышляла старушка, стоя перед протопившейся печью. Потом снова взялась за вязанье, но вязала недолго, задумалась, отложила свое рукоделье, направилась к комоду и вынула оттуда что-то квадратное, тяжелое, завернутое в зеленый отрезок диагонали. Можно было предположить, что это большая церковная книга, раз в доме иконки. Но женщина подошла к столу, развернула диагональ - и перед нею оказался старинный фотоальбом с золотыми, осыпавшимися вензелями на замшевом коричневом переплете.

Фотоальбом был так же стар, как и его владелица, а может быть, даже старше, потому что замша уже вытерлась, стала почти гладкой, вензеля поблекли, едва проглядывались в тисненых углублениях, а листы серой плотной бумаги разлохматились, осыпались по закрайкам.

Семейные фотоальбомы имеются едва ли не во всех крестьянских домах, они переходят по наследству, являются своего рода реликвией, которую берегут, как зеницу ока, убирают в самое надежное место, не позволяют трогать детям, а если показывают кому, то показывают с гордостью. Да и сами смотрят с благоговением, с почитанием к своему родословию, запечатленному не в записях, а в картинах.

Конечно же, не все альбомы старинные, есть и проще, а то в доме и вовсе нет никакого альбома - фотографии размещены в самодельных и покупных рамках под стеклом; но ведь и рамочка своего рода альбом, только открытый, выставленный напоказ для каждого, входящего в крестьянскую семью.

Правда, в последнее время фотографий на стенах остается все меньше и меньше. Они убираются, заменяются портретами, репродукциями с картин. И от этого, мне кажется, крестьянские дома теряют былое своеобразие, становятся похожими один на другой - с пустыми белыми стенами. Да что поделаешь, стоит ли об этом жалеть, если люди живут лучше, богаче, а современная обстановка в доме никак не вяжется с рамочками не из багета, а покрашенными простой масляной краской.

Тем временем старушка присела к столу, поудобнее уюстилась на стуле, подобрала под него валенки, ласково погладила твердую обложку, как бы сметая с нее пыль, двумя пальцами левой руки открыла альбом, в котором листы были переложены не папиросной или пергаментной бумагой, а отрезками заплетенного по краям шелка; осторожно убрала шелк - и открылась первая страница, не имевшая ничего интересного, потому что на нее

были косо наклеены две аляповатые открытки с целующимися голубками.

Старушка не стала смотреть их, перевернула еще страницу, но и здесь все поле занимала неизвестно каким образом сохранившаяся копия картины, изображавшая в лубочном варианте семейство царя Николая II. Старушка и на ней не задержала внимания, перелистнула еще разок - другой и замерла, глядя на снимок бородатого мужчины во френче и галифе, заправленных в хромовые сапоги, в кубанке с красной звездочкой, изображенного во весь рост на фоне гор. Надпись гласила: «Красноармейский привет из Крыма. 1920 г.»

Фотография пожелтела от времени, переломилась по нижнему правому уголку, но изображение оставалось достаточно четким, чтобы увидеть, как молод, высок, строен и красив сфотографированный в далеком от Сибири Крыму человек с бравой военной выправкой, с портупеей через плечо, на которой висела небрежно тронутая за эфес шашка. Мужчина стоял прямо, выгнув грудь и чуть отвернув голову, и выглядел очень серьезным, строгим. Но борода и усы нисколько не скрывали его молодости, а насупленные брови лишь подчеркивали в ней некоторую свойственную тому далекому времени суровость и строгость.

Старушка склонилась ниже к фотокарточке, поправила дрожащими пальцами, вглядываясь долго, неотрывно, и на лице ее появилась печальная задумчивость, вызванная непреодолимой силой воспоминаний, которые нахлынули сразу же, внесли смятение в ее душу, обуяли мыслями о прошлом, о прожитом, и от этих мыслей старушка не могла уйти около получаса. Она то опускала подслеповатые глаза к фотографии, то смотрела куда-то в стену, словно бы за нею видела то невозвратное прошлое, что промелькнуло, как сладостный неповторимый сон, и осталось навеки в нерастраченной женской памяти со всеми подробностями, возникающими в мыслях одна за другой, пока старушка не встрепенулась, медленным

движением не перевернула лист и не открыла следующей фотографии, на которой тот же самый мужчина, теперь уже в косоворотке и пиджаке, был изображен рядом с молодой симпатичной женщиной.

Ее волосы, зачесанные на прямой пробор, открывали большие цыганские серьги в ушах: вероятно, они и выменяны-то были у проезжей цыганки. Доброе, миловидное, с детской округлостью черт лицо светилось изнутри тихим счастьем, радостью любви и торжественностью момента, когда женщина впервые фотографировалась рядом с любимым человеком, а, может быть, и готовилась стать матерью. Потому что на соседнем снимке они уже держали на руках малыша с пустышкой во рту, и женщина улыбалась, глядя не в объектив, а на своего первенца, а отец поддерживал его так осторожно, будто боялся, что мать уронит это беспомощное крохотное тельце.

Надо отдать должное умелому фотографу за то, что он выбрал именно этот момент: люди на фотографии не выглядели мертволицыми манекенами - это была трогательная картина из человеческой жизни и, глядя на нее, нельзя было остаться равнодушным к такому хрупкому и короткому семейному счастью.

В лице молодой женщины угадывались черты сидевшей перед столом старушки, но сходство было совсем незначительным, едва уловимым - слишком большой промежуток времени лежал между молодостью и старостью. Эти две фотографии старушка рассматривала долго.

А дальше попадались другие люди - ее знакомые или родственники, без которых немислима ничья судьба. Они проходят и уходят, живут бок о бок с тобой, делят радости и невзгоды, выполняют ту же работу, что и ты, и как память о них остаются подаренные тебе фотографии с теплыми словами на обороте. Когда на досуге возьмешь их в руки, то перед мысленным взором приятными картинками промелькнут прожитые годы, вспомнишь: с этим человеком ты дружил, с тем был близок, сидел за празднич-

ным столом, вместе работал, служил в армии - многое вспомнится, и зацемят от воспоминаний сердце, потому что в памяти есть место всему - добру и злу, любви и ненависти, друзьям и недругам, и все хранится там, забываясь, но не теряясь, пока не наступит время вспомнить о нем, будь то раньше или позднее.

Но вот в альбоме опять появились знакомые нам лица: и если первые три снимка хорошо сохранились, блестяли глянцем, отпечатанные где-то в профессиональной фотографии, то здесь чаще попадались косополюные, бледные, выцветшие, с желтыми пятнами, но зато более разносюжетные: то изображающие семью на лавочке перед палисадником, то среди сельской улицы, то в комнате перед окнами, с деревенскими картинами за ними. На одной из фотографий виднелся помахивающий хвостом теленок, на другой за верхушками тына хорошо просматривалась неторопливая подвода.

И хотя на этих снимках лица людей были сильно затемнены, все же без труда узнавались родители - теперь уже с двумя детьми, наголо остриженными мальчиками, одетыми в одинаковые рубашки и брюки.

Родители сидели на домашней скамье, а мальчики стояли впереди рядышком, взявшись за руки, и глаза их были широко открыты перед таинственностью, загадочностью пришедшего к ним с фотоаппаратом дяди. Им, наверное, исполнилось года четыре-пять, и младший немного побаивался, потому что держался не только за брата, но и за отца, опершись на его ногу, а старший стоял бесстрашно, его целиком занимало происходящее, он даже прикусил язычишко: так интересно дядя готовился, поглядывая на них через круглое стекло.

Вероятно, это был заезжий фотограф - за окнами виднелось еще несколько детских любопытных мордашек с расплуснутыми о стекло носами. Фотограф переходил из дома в дом, а ребяташки гурьбой бегали за ним следом, глазели, отталкивая тех, кто послабее, толпились, меша-

ли. Взрослые спешили сфотографироваться поодиночке и семьями, не один раз - нечасто случалось тогда такое в сельской местности, да еще в захолустье.

Так старушка не спеша переворачивала лист за листом и настолько погрузилась в умелькнувшее прошлое, что забыла обо всем, даже о незадвинутой наполовину вьюшке. На одни фотографии смотрела вскользь, другие разглядывала с пристрастием. И можно было заметить, что так она смотрела на своих детей: то улыбалась при этом едва заметной, невеселой улыбкой, то протяжно вздыхала, то проглатывала подступавший к горлу комок, горюнилась, у нее подрагивали губы, а пальцы слепо шарили по плотной бумаге около снимков, не то стараясь вынуть, не то наоборот - закрепить их.

Иногда старушка что-то пришептывала, но про себя; иногда наклонялась к самому альбому или отстранялась от него, наморщивала переносицу, напрягалась, вроде бы не могла вспомнить что-то важное, подпираясь ладонью, замирала, но вскоре вырывалась из оцепенения.

И чем меньше оставалось неперевернутых листов в альбоме, тем она листала неторопливее, оттого, что снимков становилось больше, они гуще заполняли страницы: квадратные и продолговатые, одиночные и групповые, а на них чаще всего сама то с мужем, то с детьми, то все вместе. Семья не упускала ни одной возможности, чтобы оставить о проходящем хоть какую-то наглядную память. А промежутки между снимками бывали продолжительными, особенно это заметно было по детской внешности, по лицам и одежде.

По этим фотографиям год за годом прослеживалась семейная жизнь - молодость сменилась зрелостью, а младенчество - осмысленным детством, так как встречались уже фотографии, где дети были запечатлены в школе у доски, на которой учительница мелом заранее красиво написала название школы и номер класса. Выросших мальчиков нелегко было отыскать среди множества

лиц, с первого взгляда совершенно одинаковых, одетых на один манер, так же постриженных и шеренгой выстроившихся позади девочек перед объективом.

Потом встретила и такая карточка, где глава семейства, лихо заломив шапку, красовался на оседланном тонконогом сером жеребце, перед ажурными воротами, а три огромные буквы «Рай...», уместившиеся на одной из них, помогали догадаться, что дело происходило на районной сельскохозяйственной выставке или ярмарке: одним словом, на торжестве, посвященном, вероятно, окончанию страды, потому что деревья на снимке стояли голыми и день выдался серый, без теней. Красавец-жеребец оказался и еще на одном снимке: возле низкой конюшни с распахнутыми воротами - теперь на вогнутой его спине восседал младший из ребятишек, босой, в картузике, а отец крепко держал коня под уздцы.

Лишь одна фотография занимала почти всю страницу, и это была не простая фотокарточка, а вернее всего портрет с доски Почета, для которой когда-то фотографировали хозяйку, потому что его крепко-накрепко приклеили клейстером на толстый картон, и теперь вместе с подложкой он и лежал в альбоме. Была здесь и потрепанная вырезка из газеты, где хозяйка шагала по улице в группе женщин - они все несли косы с грабелями и смеялись. Газетная бумага пожелтела, но снимок остался чистым и ясным, в контрастности света и тени четко просматривались все точки отлично изготовленного клише, да и сама печать была сочной и глубокой.

И отец и мать выглядели еще молодыми, веселыми, их ничто не тревожило, не огорчало, все в жизни ладилось, а мальчики росли и с возмужанием в их внешности появлялось все более заметное различие: старший вроде бы отставал в росте, не спешил перерастать мать и, как она, терял былую округлость черт, время резче оттеняло в ней и в нем сосредоточенность, разумность, стеснительную худощавость и скрытую подвижность; млад-

ший же перемахивал брата, раздавался в плечах, наливался ядерной молодцеватостью, и взгляд его принимал отцовскую строгость.

На виду деревенские ребятишки превращались в юношей; вероятно, уже закончили школу, бегали на вечерки - одевались в расшитые косоворотки, в брюки с напуском и хромовые сапоги, сжатые по голенищу гармошкой. А деревенские девчонки, наверное, так и таяли перед ними, особенно перед младшим - таким он был статным да пригожим. На загляденье и на кручину девчоночью.

Старший же в это время поступил в ФЗО, потому что на двух снимках он щеголял в некрасиво скроенной спецовке, в фуражке с перекрещенными молотками на околыше. Тогда же младшему купили редкостный по тому времени велосипед - в каких только ракурсах он не был снят с ним; то один, то с девушкой, сидевшей на раме, то с товарищами, окружившими его у забора. Рядом с этими снимками встретились фотографии двух-трех девушек, подаренные ими же на долгую вечную память, нескольких незнакомых парней и еще каких-то семейных родственников.

Да, годы проходили, оставляя после себя эти фотографические мгновенные следы, и сейчас старая женщина, сидевшая за простым дощатым столом, шла мысленно по этим следам, и все то, что творилось в ее душе, отражалось на изможденном лице, которое то застывало в задумчивости, то лучилось нежностью, то скорбело над образами невозвратных близких, то светлело от приятных раздумий. Отражалось оно и в движениях непослушных пальцев, когда она вынимала какую-нибудь фотографию, чтобы поднести ее ближе к ослабевшим глазам, рассмотреть потускневшее изображение, и вновь вставляла в косые прорезы - иной раз не могла сразу угадать, потому что пальцы не слушались. Волнение туманило глаза, наполняло их горькой прозрачной влагой.

В таких случаях старушка поднимала очки на лоб, креп-

ко зажмуривалась, прижимала веки ладонью, а когда отнимала ее от них - лицо казалось беспомощным, несчастным от невысказанных страданий. И обида, и жалость, неизгладимая печаль, невыразимое горе, и сердечная боль сменялись на нем, как листы лежавшего перед нею альбома.

Жизнь прожить - не поле перейти. Всякое в ней случается, бывает хорошее и плохое. И ласкает она лебедушкой и больно бьет четырехстолбцовой плеткой, радует и огорчает. Но какую бы ни была, все-таки прожить ее легче, чем потом вспоминать о ней, переживать заново и понимать, что она уже никогда не повторится.

Вот жила и эта старая женщина: любила и была любимой, рожала детей, кормила их грудью, пела им колыбельные песни, радовалась вместе с мужем первым шагам сыновей, первому их лепету, обстирывала, обшивала семью, сама работала в колхозе, веселилась и страдала, ласкала и ругала своих мужиков, шлепала под горячую руку, провожала в школу, на работу, приучала к труду, присматривала им невест. И не думала, не гадала, что придется ей проводить всех троих на войну, после которой остались в альбоме только три маленькие фотографии, три радостные последние весточки, присланные солдатами с фронта.

С одного разворота отец и два сына смотрели на мать, а она - на них: на мужа в форме кавалерийского офицера, еще более посуровевшего, с глубокими прорезями на лбу, на своего старшего - пехотинца в великоватой гимнастерке, похудевшего от нелегкой службы, и на младшего, который стоял около танка «КВ», опершись о него плечом, улыбался матери - «не горюй, мол, мама - служба идет отлично, скоро отправимся бить врага, мы же сибиряки, в грязь лицом не ударим».

И все...

Остальные страницы в альбоме остались незаполненными, потому что старушка не перевернула ни одну из

них, а закаменела над этими снимками, над последним своим женским счастьем, над своим непрошедшим горем, закаменела, прихватив остатками передних зубов губу, а потом начала покачиваться из стороны в сторону, плечи ее стали подрагивать. Она захватила голову руками, разлепила губы, из глубины стесненной болью груди вырвался тихий мучительный стон.

И нельзя было понять, всхлипывала старушка или рыдала, потому что ее плач угадывался лишь по прерывистым вздохам. Свои слезы она выплакала давно; лишь две капельки выкатились из-под очков, но не упали, а растеклись по сетке морщинок, крест-накрест избороздивших дряблые щеки.

А за стенами домика ярилась январская вьюга, куролесила по деревне, шипела, словно громадная рассерженная змея, ухала, гудела, взывала от бесполезной ярости. И вьюшка печи оставалась полузакрытой - через нее вьюга высасывала тепло, хоть этим стараясь досадить недоступным для ее бешеной злости людям.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

К селу человек подошел со стороны недалекого полустанка и остановился на высокой околице около разбитого молнией полусасохшего тополя, что возвышался, как забытый, ненужный никому памятник над заросшими буйной крапивой останками разломанного по ненадобности или ветхости жилища. Человек движением плеч поправил за спиной тощий рюкзак, закурил вонючую папиросу и долго вглядывался в прямую длинную улицу, тускло освещенную редкими пятнами взъерошенных фонарей и квадратами незакрытых ставнями окон.

Человек затягивался и в жидком отблеске папиросы несколько минут поворачивал то так, то этак поднесенные к самым глазам часы: маленькая стрелка едва переползла девятку, но улица лежала перед ним пустынная и сонная, только в чьем-то дворе тявкала усердная собачонка. За ближним лесом вспорол фарами осеннее мутное небо неслышный трактор; лучи скользнули по голой вершине тополя и тотчас опять упали за лес. Потом визгливо скрипнули чьи-то незапертые ворота, качнулись зыбкие тени электроопор и налетел неприятный холодный ветер. Он резво прошебарчал лапами жесткого клеенчатого плаща, вырвал искры из папиросы и немного притих, нанеся запах чего-то вкусного, от чего человек проглотил слюну и облизал потрескавшиеся на ветру губы.

На другом конце улицы шумел механизмами зерноток, и от всех этих огней, от обжитых домов, от сельских шумов и шорохов веяло приветливым покоем, теплом и та-

ким домашним уютом, что человек бросил промелькнувший желтой дугой окурок, раздавил его стоптанным на пятку салогом и податно зашагал к первым постройкам. Но чем ближе он приближался к ним, тем шаги его становились медленнее, неувереннее и, наконец, человек застыл у нечеткой линии полутьмы и света, очерченной сто-ваттной лампочкой, словно боялся переступить её и оказаться видимым посреди широкой безлюдной улицы. Мягко высветилась его невысокая ссутуленная фигура, оплывшее лицо, прорезанное морщинами, от притемок резкими и глубокими, лохматые, спаянные над переносом брови и поседевшие волосы, выбившиеся из-под мягкой шляпы.

Человек некоторое время колебался, зачем-то оглянувшись назад, затем повернул направо и стал опускаться мимо прясел, заслоняющих огороды, в крутую ложину, окатившую темнотой и сыростью. Человек хорошо ориентировался в темноте: он уверенно спустился пологой выемкой, выгрызенной в крутояре бульдозерами, и направился низиной параллельно улице по едва заметной, вьющейся мимо огородов, среди зарослей репейника, лебеды и конопли тропке. В крутоярах было теплее, ветер летел где-то наверху и ронял на человека ночные деревенские звуки - хриплый голос транзистора, бреханье беспокорных собак, басовитый сигнал автомашины и веселый девичий смех, прозвучавший так неожиданно и так внятно из ближней усадьбы, что человек даже приостановился; ему показалось, что смеются совсем рядом, и он немного испугался. Нет, село еще не уснуло, как ему показалось, оно жило невидимой ему жизнью под ненастным пологом бесприютной сентябрьской ночи.

Человек пробирался медленно и осторожно, отводя от себя зажестянившиеся рогулины лопухов, еле видимые во мраке зацепистые колючки, ступал на ощупь, чтобы не угодить в промоину, но иногда все же задумывался, забывался и тогда скользил по осклизлой от дождей глине,

шумно топал отяжелевшими от грязи сапогами, раздирал травяные заросли и его выставленные перед собой руки царапала жесткая высокая конопля.

Ещё ниже задумчиво журчала в зарослях ивняка речка, несла чуть уловимый запах разлагающейся речной тины, а за нею в редком березняке тоскливо прокричала и смолкла ночная птица. Человек прислушался к её крику, сбавил шаг, приглядываясь к огородам, взбирающимся на бугор и свернул туда, где за изгородью белела, видимо, совсем недавно срубленная баня. Он попробовал протиснуться сквозь прибитые к стойкам жерди, но увяз, зацепил за них рюкзаком, с трудом выбрался из ловушки, затем навалился на изгородь животом, перебросил сначала одну ногу, потом другую и уже в огороде подождал, тяжело дыша, пока успокоится больно застучавшее в груди сердце, человек сунул под плащ ладонь, словно боялся, что сердце выскочит и упадет на сырую землю, поддерживая левой рукой за жердь, затем нашарил в грудном кармане большую белую таблетку и положил её себе в рот. Он почувствовал облегчение, направился к бане, споткнулся о не вырубленные до морозов капустные кочаны, раскорячился, чтобы не упасть, хватанул ртом воздуха и выронил обмусоленную, мелькнувшую светлой льдинкой каплю.

- Чтоб тебе! - тихо выругался человек и с опаской обошел грядки. У бани он обернулся, поводит по шершавым осиновым бревнам пальцами, приоткрыл дверь в предбанник - ничего там не разглядел, подышал резкой дымной гарью, хотел отдохнуть, но раздумал и побрел в гору мимо толстых будильев подсолнухов и чернеющих куч ботвы, что осталась после выкопанной хозяевами картошки.

Крестовой дом, высоко поднятый на литом фундаменте, стоял крепко, упористо, красуясь отбеленным дождями шифером, по-нынешнему простеньким карнизом, смолистыми стенами и распахнутыми, похожими на крылья диковинных бабочек, филёнчатыми ставнями, разноцветно рас-

крашенными любящей все яркое и красивое хозяйкой.

Конечно же, ничего этого человек в темноте увидеть не мог, он лишь представил себе такую картину, потому что дом приманчиво светился окнами, окруженный ещё облиственными яблонями-дичками, путаницем крыжовника, малины и желто-красными кленами, взметнувшимися свои ветви наравне с крышей.

Человек постоял с отраженными в зрачках оконными переплетами, успокоил участвовавшее дыхание, полюбовался домом и, как видно, по старой привычке потянулся через калитку, отыскивая запор. Но запора на прежнем месте не оказалось, человек заелозил рукой по доскам, потянулся ниже и вдруг отскочил, напуганный гулким собачьим лаем.

Непонятного цвета пёс появился откуда-то из глубины двора, промелькнул в освещенном пространстве среди деревьев и залаял на постороннего, с придыхом, всхрапыванием, встряхивая большими ушами. Брехал он беззлбно, остановившись на порядочном расстоянии от прищельца, и тот оправился от испуга, выставился над изгородью и ласково, почти шепотом поманил:

- Рекс..! Рекс..! Рексушка!

Пёс от зова замолк на мгновенье, словно стараясь понять: кто же там за воротами называет его кличку? - потянул чутким носом и опять залаял, но уже примирительно, без напора, с перерывами и раздумчивыми наклонами лобастой головы. Через некоторое время у него зашевелился вытянутый лохматый хвост, лай сменился виноватым неуверенным тьяканьем, а когда человек все-таки нашарил крючок и распахнул калитку, пёс уже не тьякал и бросился ему на грудь с радостным повизгиванием и сопеньем. Он приплясывал на задних лапах, тыкался мокрым прохладным носом во что попало и покусывал от радости человеку пальцы. Человек почесал ему за ушами, присел на корточки и прижался небритой щекой к теплой и пахучей собачьей морде.

- Рексушка, старикан ты этакий! - с дрожью в голосе, со слезами проговорил он, - старикашка ты глупый, не забыл меня. Столько лет прошло, и вот - на тебе - живой и меня помнишь. Ах, ты, Рексушка, Рексишка-псишка!

Пес понятно расшурудил хвостом листву, плотнее присунулся к человеку и задышал ему в ухо горячо и преданно, как могут дышать только собаки. Человек опять обнял его за голову, потрепал по загривку, потом поднялся и крадучись направился к маленькому столику у обвитого полужасохшим хмелем навеса в гуще садика. А пес ластился, подпрыгивал, фыркал от распиравшей его радости и пощипывал легонько брюки выше колен своими истершимися зубами.

Человек опустился на низкую, вкопанную перед столом скамейку и осмотрелся, насколько это позволял рассеянный свет от окон, а пес положил ему на колено голову, почмокал, пошевелил брылями, протяжно вздохнул и приспустил веки, все же не переставая следить верным взглядом за человеком и ожидая от него ласки.

Под навесом угадывались друг на друге пчельные магазины, пахло стружкой, созревшим хмелем и медом, потому что около яблонь стояли ульи. Человек неловко освободился от надоевшего рюкзака, отвалился на выгнутую из реек спинку и вытянул утомленные от ходьбы ноги. Пес повил хвостом, но голову не убрал, только передвинул её повыше да ковырнул носом руку человека, прося погладить. А человек и впрямь погладил, но недолго, хотя пес жмурился от удовольствия и перебирал лапами; человек тоже протяжно вздохнул и стал смотреть сквозь полуголые ветви на ярко освещенные окна дома. Они были задернуты белыми занавесками, из-за двойных рам не доносилось ни звука, ни шороха, жизнь в доме только угадывалась, но он жил - это чувствовалось по всему: и по свету во всех его комнатах, и по сытному домашнему духу, что исходил от высоких печных труб, и по неясным теням, которые иногда проскальзывали по шторам.

Человек опять почувствовал холод, пощупал рюкзак, но не развязал его, а чтобы заглушить желание, закурил, отвернувшись и за собой пряча спичку. Он курил в горсть опасно, без наслаждения и довольства, ему хотелось согреться, и он просто засасывал терпкий табачный дым и прислушивался, как что-то тягуче похрипывает у него в бронхах. Да и пес посапывал и прислушивался, шевелил то одной лопушиной, то другой, мигал и преданно терся о колено, подрагивая мелкой нечастой дрожью. Человеку от его вздрагивания тоже стало зябко, он встряхнулся и передвинулся на скамье, чтобы навесом защититься от надоедливого пронизывающего ветра.

С кленов то и дело срывались листья, кружились с едва уловимым шуршанием среди ветвей и устилали зубчатыми узорами натоптанные дорожки, листья падали задумчиво, подныривали зигзагами и лишь подхваченные струей суматошно вертелись, взблескивали в лучах света и скрывались в сумрачной непроглядности.

На одну из штор наплыл четкий силуэт женщины с распущенными волосами; поднялись руки, подобрали волосы и умело закрутили их на затылке. Человек даже привстал, чуть не опрокинув пса, но силуэт увеличился во весь проем и растаял, словно его и не было. Но человек все-таки и этому обрадовался, засмеялся тихонько псу и легонько пощелкал того по нюшке. Пес обрадованно взвился, поднял лапу, а человек пожал её, словно поздоровался с той женщиной, тень которой промелькнула на занавеске.

- Варя, - высказал своему молчаливому, но внимательному собеседнику человек. - Она. Ишь косы-то распустила русалкой. У нее волосы мягкие, шелковые, а у меня, - приподнял он шляпу, - только на висках и остались для украшения. Вот и ты линяешь, Рекс, лохмотья развесил.

Человек без труда отделил от собачьего бока клочок свалявшейся жесткой шерсти.

- Смотри, старый. На носки натеребить можно. Хоть

бы вычесался, неряха.

Но неряха отвернулся и лишь мел хвостом да взглядывал виновато, пока человек не устроился на прежнем, нагретом, но уже остывшем за эти минуты, месте.

- Эх, Рекс, ты, Рекс, беспонятная животина, - тихо и с некоторой шепелявостью, вроде у него не было передних зубов, говорил мужчина. - Доля у нас с тобой собачья. У тебя хоть конура есть, а у меня и вовсе никакого приюта не осталось. Не получилась она, жизнь-матушка. И винить некого, сам виноват. Ну, да ладно, тебе этого не понять. И как быть, ты мне не подскажешь. Я вот ещё покурю да и постучусь в дверь. Хозяйка твоя не узнает, небось. Как же, столько лет от меня ни слуху, ни духу. Поди, и думать забыла? Только вряд ли. Первая любовь не забывается. Да и знакомые мне писали как-то: одна живет. В деревне, Рекс, не так-то просто одинокой женщине спутника жизни найти. Постучусь, за тем и ехал, авось в лоб не ударит, пустит переночевать. А потом видно будет. Может, и тебе разрешит забежать в дом на радостях. Здесь нам холодновато. Летом-то каждый кустик ночевать пустит, а сейчас осень, пробирает.

Человек поднял к небу лицо, придержал шляпу. Небо висело мрачное, неразличимое; ему показалось, что оно опускается ниже и ниже и вот-вот всей непроглядной тяжестью обрушится на него, погасит окна, сметет все звуки, и останутся на земле только холод и тишина. Человек боязливо поежился и носком сапога нашарил свернувшуюся у ног собаку.

- Надо мне, Рекс, погреться, - потянулся он к рюкзаку, — пропустить глоточек-другой. Для храбрости. Много-то не стоит, не тот момент, а для храбрости можно. Что-то никак не на смеюсь я постучаться. Да не замерзать же нам?

Человек пододвинул к себе рюкзак, распустил завязку, достал початую бутылку водки, отломил кусок толстой, остро пахнущей колбасы, облепленной хлебными крошками и другим сором. Человек на ощупь стер его ладо-

ню, а пес пофукал, попринюхивался и встал, в ожидании уставился на пришельца, который, не торопясь, откупорил посудину с винтовой пробкой. Потом человек запрокинул голову - в горле у него пробулькало, прошипел затягиваемый в бутылку воздух - человек наново закупорил её, разломил колбасу и долго перекатывал отломленный кусок по деснам.

- И ты хочешь? - спросил он пса, посовывающегося к нему от нетерпения. - Тоже колбасу любишь? На, на, Рексушка, замори червяка. Много не дам, гостинец, тебе этого хватит. Хозяйка-то все равно угостит нас чем-нибудь. Она мастерица готовить, особенно пироги, стряпню всякую.

От выпитой водки человека несколько раз передернуло, по его телу пробежали мурашки, но он уже ощутил растекающееся по жилам тепло, задышал ровнее, почувствовал себя спокойнее и пока завязывал рюкзак, пес торопливо чавкал и усердно вынюхивал в листве то, что, по его мнению, потерялось от гостинца.

- Да, - продолжал человек, - хозяйка она хорошая. Вишь, и пасеку нашу сохранила и постройки ни одной не нарушила. Даже баню новую возвела и какую-то сараюшку. Нанимала кого-нибудь, не женское это дело, Рекс. А теперь вот и я вернулся. Надоело по чужим да по временным углам. Приду, так и так, виноват, мол, Варя, молодой был, глупый. Обидел тебя. Хотел найти лучшего да не нашел, промотался только. А повинную голову и меч не сечет, Рекс, лохматые твои уши.

В это время в одной из комнат выключили освещение, отчего в садике сразу стало сумрачно и неуютно, хотя окна засветились голубовато, мерцающе, видимо, в доме начал показывать телевизор. Человек расправил воротник плаща, запахнул отвороты, но это мало его согрело, тогда он встал и прошелся вокруг стола, по дорожке к ульям, то останавливаясь в раздумье, то опять шаркая подошвами. Он заглянул во двор, покачал показавшийся ненадежным столб ограды, осмотрел крыльцо, даже ступил на

него, но не взошел, а воротился к навесу, полез было за куревом да и замер, остановленный голосами, которые донеслись с улицы. Голоса долетали невнятно, но они приближались к дому и, наконец, человек расслышал, что у ворот разговаривают девушка и провожающий её парень. Человек отодвинулся за деревья, а пес шмыгнул мимо штакетин и из-за ворот послышался недовольный возглас девушки:

- Перестань ты, Рекс! Куда пялишься со своими грязными лапами? Испачкаешь.

- Он тебя каждый раз встречает, - проговорил неустоявшимся баском парень.

- Ага, - отозвалась его спутница, - такой преданный. Он и спит у нас в доме, когда холодно. А сейчас мама не пускает. Линючий он. Все половики в волосьях.

- Сядем на лавочку, - предложил парень.

- Нет, Витя. Домой пора. Ты продрог в своей курточке: руки-то какие холодные. Одевался бы потеплее, чего форсишь?

- Да не замерз я, не зима же. Просто ветрено. Так ты говоришь, что кино тебе не понравилось?

- Не понравилось. Не люблю я таких глупых фильмов. Вроде бы комедия, а несколько не смешно.

- И я не люблю... А нашему классу завтра копать картошку.

- Нашему послезавтра. Только бы погода окончательно не испортилась. Пойду я, Витя, мне по истории выучить нужно. Хотела сразу все уроки закончить да Валька Малова прибежала: айда новые записи слушать, брат из города привез. Ушла к ней и прослушали до вечера. Потом в кино пошли. Мать опять стропалить будет.

- Хорошие записи?

- Закачаешься. Там и Шевчук, и Пугачева, и Высоцкий. Валька их в субботу в клуб принесет. Услышишь. Пойду я, Витя.

- Погоди, Зоя. Время-то ещё детское.

- Какое детское? Десять часов.

- А завтра ты пойдешь в кино?

- Не знаю. Если фильм интересный будет.

Парень и девушка помолчали, а человек напрягся, весь обратился в слух, даже рот приоткрыл, так прислушивался внимательно.

- Ну, я пойду, - сказала девушка. - До свиданья, Витя.

- Я завтра зайду за тобой, - пообещал парень.

Звякнула откидываемая щеколда.

Человек вытянулся, стараясь разглядеть девушку, но увидел только её неясное очертание, торопливо процокавшее каблуками сначала по двору, а затем взбежавшее на крылечко. Человек даже попытался окликнуть девушку, разлепил пересохшие губы в безмолвном оклике и не окликнул, а она негромко постучала в дверь, подождала и опять стукнула уже с нетерпением.

- Ты, Зоя? - послышался женский голос.

- Я, мама.

- Что-то долго ты, гулена? - укорила её женщина, откровенная.

Остального разговора человек не разобрал, так как девушка вошла в сени, дверь закрылась и от её хлопка в окне жалобно зазвенели стекла, пес, до этого отиравшийся около молодой хозяйки, прибежал опять, похрустывая листвою, потоптался у столика и бессовестно задрал лапу. Человек, однако, не обратил на него внимания, он был занят своими мыслями, он уставился в одну точку и никак не мог оторваться от этой точки - входной двери, распахнувшейся на миг лишь для того, чтобы впустить девушку.

- Примут ли они меня? - для себя прошептал человек растерянно и немного погодя повторил:

- Примут ли? А Зоя-то как выросла! - уже веселее сказал он псу. - С провожатыми ходит, вот какие пироги, Рекс.

По вершинам деревьев сердито шумнул ветер. Клены закачались, заперевирали сучьями, порывисто выламываясь и суматошно роняя последнюю листву. Над доро-

гой печально заплакали провода и, как выстрел, хлопнула у соседней отворенная ветром ставня. Человек обернулся на звук, потом подошел к рюкзаку, взялся за него и снова задержался в раздумье, никак не решаясь покинуть спасительный навес.

Вдруг пес чутко насторожился, помахивая хвостом, постоял несколько мгновений на трех лапах, будто в молодости делал стойку перед затаившимся косачом, и опять выбежал на улицу своим лазом. Человек тоже насторожился, не выходя из укрытия, и не зря, потому что в эту минуту в ограду вошел мужчина и, успокаивая собаку, поколотил в раму.

- Будет, будет, - говорил он Рексу по пути на крыльцо.

- Кто там? - снова из сенок спросила женщина.

- Я, Варя, я.

- Петя! - женщина распахнула дверь и забелела в её проеме. - Чего долго так?

- Да ребята только что молотить кончили. Я последнюю машину зерна привез.

- Заходи. Чего ты там возишься?

- Сейчас. Сапоги маленько обчищу. По пуду грязи налипло.

- А я весь вечер думаю: куда муж пропал? Суп два раза разогревала, котлеты который час в духовке держу. В окошко соднова выглядываю. А что увидишь - хоть в глаз коли. Заходи. В сенях сапоги снимешь. Я после вымою и сушить поставлю. Оленька уже уснула. Зоя только что из кино пришла. Мы спектакль по телевизору смотрим.

И опять, шумно охнув, за ними захлопнулась дверь, и опять, обиженный тем, что его не пустили в тепло, пес уныло приплелся к неподвижному человеку. Но не встретил и от него привет, потому что человек обхватил обеими руками сосновый столб навеса, прижался к нему щекой и забился в нервном ознобе, но не от холода, а от переполнивших его чувств: злобы, зависти, разочарования и полной опустошенности после подслушанного пос-

ледного разговора. Человек заскрипел остатками зубов, застонал от нахлынувшей большой обиды, от невыразимого горя, от отчаяния, от внезапно осознанного страха за своё будущее, ударился виском о твердую опору, ударился ещё раз и заплакал, нисколько не сдерживая рыданий. Он рыдал и дергался, и покачивался, и чувствовал, как слезы катятся по его обветренному лицу, сначала горячие, а на губах соленые и холодные, как брызги моря. Человек слизывал слезы с губ, а рядом без толку топтался пес, тоже переполненный невысказанным состраданием к человеку. Пес негромко заскулил, но человек не услышал этого; тогда пес встал на задние лапы и, не переставая скулить, передними заскрёб по его настывшей, посвистывающей под когтями одежде.

- Да пошел ты к черту, облезлая тварь! - злобно выкрикнул человек, оттолкнул пса рукой и так пнул в исхудалый мосластый бок, что пес дважды перевернулся и под ребрами у него что-то глухо, утробно хукнуло. Пес отчаянно завизжал, отскочил в сторону, постоял, зализывая ушиб, и понуро, с оглядкой скрылся в кустах малины.

А над миром простиралась глухая ночь. Раздувался и креп одичавший ветер. Где-то в темени проносились тяжелые низкие облака. Собирался дождь и в селе все дружно гасили окна.



ДВА ДНЯ В ЗАБОРКЕ

Все-таки далеко от родимых мест унесло Арсения Перехватова к сорока годам жизни, если даже на скором, без пересадок почти трое суток маялся он в плацкартном вагоне, набитом пассажирами, как селедкой, бочка. Потом до полудня в областном центре ждал рейсового автобуса и только к шести вечера добрался до поворота к Заборке, своей родной деревне где не был от прошлого года, от похорон матери, а вообще-то не жил уже восемнадцать лет. Как ушел в армию, так и распростился с колхозом, остался на сверхсрочную, а у солдата известно какая служба: куда пошлют, туда и поедешь, хочешь ты того или нет, что прикажут, то и выполнишь. Редко Арсению приходилось бывать в родительском доме; вот и нынче он ни за что не поехал бы, не получи категорического письма дяди Фотей Ивановича, в котором тот требовал «срочно приехать», чтобы уладить продажу пустующего родительского дома какому-то переселенцу, решившему осесть на постоянное жительство в их благодатных лесостепных местах.

«Приезжай обязательно, - писал Фотей Иванович рукой внучки-пятиклассницы Клаши, - больше вряд ли пофартит. Сейчас не в деревню, а из деревни бегут. Сгниет без хозяина хоромина, а гнилушки кому нужны? И так не доглядели: ребятишки пять стекол выбили да на дверях мелом рожки начеркали. Хоть и прислал ты мне доверность /он, видимо, так и диктовал/, но без тебя я боюсь торговаться. То ли дорого возьмешь, то ли продешевишь. А уж раз ты законный

наследник единственный, тебе и карты в руки».

И как не хотелось Арсению беречь душу побывкой на родине, после такого письма на пяти ученических листках, волей-неволей пришлось отпрашиваться у начальства, трястись несколько тысяч километров в поезде, затем более двухсот в автобусе, чтобы добраться до этого неприметного перекрестка. Ещё в автобусе от предстоящей встречи с родиной у Арсения начало щемить в горле, а когда он пошел от асфальта к Заборке знакомой, извивающейся в зеленом бору дорожке, разволновался до слез. На каждой полянке, за каждым поворотом ему вспоминались промелькнувшие здесь, как птицы в кустах, годы, теперь заново прилетевшие и порхающие впереди него с дерева на дерево, с кустика на кустик. Никакой последовательности не было в воспоминаниях Арсения, просто возникали перед ним разрозненные неясные картины прошлого; они, словно блики на беспокойной воде, вспыхивали и гасли, и снова вспыхивали. То он попадал в отрадное детство, из которого они выкарабкались в немалой степени на ягодах и грибах, собранных в этом лесу, то вдруг в мыслях наткнулся на школьную пору, когда они дружной ватагой бегали с осени до весны по любой погоде в сельскую десятилетку. То ему вспоминалась мать, добрая и тихая женщина, постоянно болеющая от тяжелой колхозной работы, то появлялись перед глазами друзья-товарищи, которых теперь, как и его самого, судьба разбросала по белу свету. И с каждым знакомым бугорком, с каждым выросшим за эти годы деревом было что-то связано, не всегда четкое и уловимое, но все равно волнующее и близкое. Разве можно забыть вот эту лягу, что раньше называли «Вторыми избушками» потому что здесь находился колхозный ток, где Арсений ловил силками серых куропадок, или вон ту куртину величаво разросшихся берез, тогда ещё не таких раскидистых, на которые он лазал с тетеревиными чучелами?

Заканчивался апрель, но там, откуда приехал Арсений,

давно зацвели сады, а здесь у дороги ещё не успели иссякнуть лужи, хотя снег стоял даже в оврагах. Лужи были прозрачны и гладки, как огромные, брошенные на землю зеркала, в которых отражались сосны и голубое небо. В них плавали желтые хвоинки, и вода была настояна на этих устилающих дно хвоинках до коричневой густоты. Арсений любил такую воду: вот и сейчас он не утерпел, опустился на колени, уперся ладонями в холодящую землю и прижался губами к остро пахнущей, чистой, почти незаметной вблизи воде, глотнул и у него сразу же заломило зубы. От влажной земли веяло весенней прелью, а когда Арсений вышел из леса, запахло таявшим под горячим солнцем льдом, выброшенной волнами на берег тинной и открылась Заборка, полукругом растянувшаяся вдоль озера.

Арсений снял фуражку, остановился в виду деревни, отыскал на дальнем конце улицы под высокими тополями свой заколоченный дом, прослезился и долго стоял, глядя на милое гнездо, что всегда так дорого для каждого покинувшего его человека.

А через час он сидел у Фотей Ивановича в просторной горнице за накрытым столом и, как ни радостно ему было снова оказаться у родни, все-таки долгий путь утомил его и теперь, когда они с дядей и двоюродным братом Костей пропустили по рюмочке за встречу, Арсений сидел совершенно разбитый, расслабленный внутренним теплом. Водка его разморила, во всем теле Арсений ощущал слабость, минутами ему казалось, что его все ещё покачивает в дороге: руки и ноги стали тяжелыми, да и весь он отяжелел, хотя был по-солдатски подтянут, легок и мог до двадцати раз подтянуться на перекладине. Тетя Феша, округлевшая, словно колобок, подкладывала племяннику жареной курицы с рисовым гарниром, а Фотей Иванович, костистый, с бельмом на левом глазу, всё поднимал да поднимал свою малюсенькую, нарочно подбранную хозяйкой рюмку.

- Давайте, робята, чтобы не хромать, - поторапливал он застольщиков. - А то наедемся и вино не полезет.

- Тебе бы только за ворот лить! - заворчала на него тетя Феша. - Пусть Арся поест. Проголодался, поди, в дороге.

- Нам теперь только и достанется, а помрем - все останется.

- Немало бы ещё вылакали, если бы вас не прижали. Спасибо, умные люди нашлись. Сейчас вина-то у нас не продают, магазин-то закрыли, - сказала тетя Феша Арсению. - Ладно, у меня с коих пор для всякого случая осталась бутылочка, вот и сгодилась. Дед на неё не раз искося поглядывал.

- Скоро моя Маруська с фермы прибежит, - сказал коренастый и плотный по матери Костя. - В прошлом году нам толком и поговорить не пришлось.

- До разговоров ли было, - вздохнул Арсений.

- Да. Жалко тетку Арину. Не болезнь, так жила бы да жила.

- Царство ей небесное, - перекрестилась тетя Феша, - покой вечный, рай светлый. В последний-то год она все перемогалась, а виду не показывала. И в больницу боялась ехать. Сама поправлюсь, бывало, скажет мне.

- И нам ничего не писала, - сказал Арсений. - К себе жить звали, не ехала...

- Дом свой оставить боялась, - перебил его Фотей Иванович. - Сейчас свекрови со снохами не ладят. Все больше одни жить норовят. Спокойнее и никаких попреков не слышат. Ну, давайте, а то вина мало, да и то выдохнется.

Они выпили и, видимо, чтобы отвести Арсения от грустных мыслей, Костя спросил:

- Ты охоту-то не бросил?

- Нет, - обрадовался его догадливости Арсений. - На выходные езжу. У нас под Астраханью приписное хозяйство. Хозяйство хорошее. База отдыха там построена, лодки взять можно, с мотором и весельные. Хочешь стре-

ляй, хочешь - рыбу лови. Рыбы какой только нет. По веснам с подсадной на десять дней открывают. А ты?

- Тоже ружье держу. Да что толку? Весеннюю охоту открывают на три дня. Осеннюю разрешают только в сентябре, а у нас в разгаре уборка. На берегу живем, а стрелять меньше любого городского доводится. Эх! - тряхнул Костя волнистым чубом. - Мы бы завтра с тобой, как бывало, с крякухами посидели. У меня одна так орет - никакой селезень не проскочит мимо. А селезни нынче есть.

- Есть-есть, - согласился с ним Фотей Иванович. - Весна нынче ранняя, вот и прилетели загодя. Теряют утешек. Их бы поубавить немного да нельзя. Вовсе колхознику нечем заняться стало. Хоть браконьерничай, так в ту же пору, да не пристало доброму охотнику порядок нарушать.

- Нарушают, - проговорил Костя. - Я уж несколько раз слышал: стреляют на озере. На той стороне пакостит кто-то. Я позавчера почти все озеро на тракторе кругом объехал. Не видно. В камышах, наверно, прячется.

- Я тоже слышал. Наезжие кто-нибудь. Машину в лесу оставит, а сам на резиновой лодке заплывет. Наши все на виду, не захотят срамиться. Озеро у нас сильно обмелело, - посетовал Фотей Иванович. - Я раньше из огорода стреливал, а сейчас вода на сто саженей от прясел отошла. Года пошли сухие и снегу зимой мало выпадает. И птицы, и рыбы меньше стало.

- Неужели и ты, Фотей Иваныч, по-прежнему стреляешь? - подивился Арсений.

- Заплываю по осени, - с гордецей усмехнулся тот. - Глаз, правда, плоховато видеть стал и стоять в лодке долго не могу. Ноги мозжат. Но с Константином по части стрельбы ещё потягаюсь, - подзадорил он сына.

- У-у, тю, болото, осиновый кол! - из кухни урезонила его тетя Феша вместо сына. - Отстрелялся. Лонись фитиль не мог из воды вытащить. Пришлось Иванку Деева, соседа, просить. А карасишек-то всего с десятка попало. Чё уж теперь про нас говорить.

- Охота-то охотой, - обсасывая куриное крылышко, решил к главному делу Фотей Иванович. - Мужик тот ко мне раз пять приходил.

- Какой мужик? - не сразу понял Костя.

- Который дом торгует. Как его зовут, не помню. Мудрое имя: не сразу выговоришь.

- А-а, - сказал Костя. - Я его тоже видел. Мордастый такой, в шляпе.

- Вот-вот. Его, по словам, лесником на наш участок взяли. К нам перебираться хочет. Здесь, говорит, место хорошее. Озеро, дескать, и леса, которые за ним, рядом.

- Пусть перебирается, - сказал Арсений. - Я дорого не запрошу. Так и так моей семье здесь не жить.

- Мне он не сильно глянется, - прямодушно заявил Фотей Иванович. - Скрытный какой-то. Глаза так и бегают, так и бегают, нисколько прямо не смотрит. Я его об одном пытаю, а он в другую сторону клонит. Я таких людей не люблю, которые себе на уме.

- Отец, хватит тебе незнакомого человека обсуждать, - опять вмешалась из кухни тетя Феша. - Ни он тебя не знает, ни ты его.

- Да бог с ним, - отступился Фотей Иванович.

Уже затемно пришла Мария, жена Кости, тоже невысокая, плотная, с румянцем во всю щеку и с тугой черной косой, которую она постоянно перекидывала то на правое плечо, то за спину, как будто коса ей все время мешала.

- Долго ты чего-то, - укорил ее немного охмелевший Костя.

- Корову искала, - сказала Мария, поздоровавшись с гостем за руку и садясь за стол. - Пока с работы пришла да пока нашла - а она забралась за Ямками на одонки - да подоила. Жизнь эта наша деревенская! - сверкнула она темными глазами. - На ферме намантулишься и дома дел невпроворот.

- Ну вот, опять ей деревенская жизнь не нравится, - развел руками Костя.

- Не нравится! - твердо сказала Мария. - Она только в газетах да в телевизоре хорошая. Ни зимой, ни летом роздыху нету. То скотина, то огороды, то дрова, то сено. Клуб не отапливается, закрыт, библиотека не работает - культура, одним словом. Сколько раз своему говорила, - обратилась она к Арсению, - давай уедем в город, так нет: не люблю, мол, города, здесь охота, рыбалка. А сам и охотничает за осень один раз. Все некогда, недосуг, то на тракторе, то на комбайне. Приеду в город к Дуське, сестре моей, она с работы придет, в ванне накупается и поглядывает телевизор, как барынька. А я во втором часу ночи лягу да еще думаю, не забыла ли я чего сделать? А-а! - обняла она мужа и засмеялась. - Наливайте и нам с мамашей, не буду вам настроение портить. Я ведь такая - любому правду в глаза скажу, хоть самому Ельцину.

Потом они пели «Бежал бродяга с Сахалина», «Меж крутых бережков», «Не плачь, девчонка», вспоминали общих знакомых, родных, сетовали на то, что редко переписываются и видятся: Арсений звал Марию и Костю к себе в гости, а разошлись они далеко за полночь, когда Фотей Иванович уже клевал носом. Арсений проводил Костю с Марией до их усадьбы, они приглашали его зайти, но он отказался, пообещав навестить их завтра, и отправился вдоль полутемной улицы, тускло освещенной двумя-тремя лампочками, непривычно оступаясь в проторенные машинами и тракторами канавы. В деревне уже спали: одни собаки беззлобно лаяли на прохожего, да где-то за озером скрипел прилетевший из дальних стран коростель.

Господи, как все здесь было знакомо и незнакомо! Вот изба тети Клани, самой задушевной подруги матери, тоже солдатки, у которой муж пропал без вести; вот бригадная контора, над крылечком её висит облезлая вывеска, а над нею тлеет неяркий фонарик. Вот садик Нюры Калугиной, первой девочки, которую он, сгорая от стыда, провожал с вечера, не зная о чем с нею говорить и лишь махал перед лицом сиреневой веткой, отгоняя назойливых кома-

ров. Вот двухэтажная школа, бывший кулацкий дом, теперь в ней некому учиться, детей родители возят в соседнее село, а тогда наверху занимались, а внизу жила учительница Татьяна Ивановна с дочерью Тоней, которую Арсений любил и которая никогда не узнала об этом, потому что училась в техникуме, к матери приезжала только на выходные. Арсений же увез свою любовь в солдатские казармы, а Тоня без него вышла замуж и тоже куда-то уехала. Где-то теперь она и её добрая мама, где все друзья и подруги, куда занесла их судьба, как они живут и вспоминают ли иногда Арсения. Кто знает.

Арсений дошел до своего дома, постоял у покосившегося палисадника: ему вдруг показалось, что стоит постучать в ставень и ему откроет дверь мама, откроет, ничего не спросит и тихо уйдет в комнату, ляжет в свою постель, спокойная и со всем согласная, никогда не слышавшая плохого слова от сына, и сама никогда не обижавшая его. Арсений тронул рукой калитку, но она была подперта изнутри, тогда он в волнении присел на сохранившуюся лавочку и около часа сидел неподвижно у пустого темного дома, путаясь в обрывающихся мыслях, глотая сухую черствую горечь и испытывая такую щемящую тоску, что у него заныло сердце. Тогда он поднялся, пошел от воспоминаний, но не раз ещё оглянулся, не веря, что и детство его, и юность, и все, связанное с ними, уже в невозвратном прошлом.

Но и на ходу Арсений не успокоился, не задержался даже минуты на крыльце, чтобы посмотреть на темное озеро, послушать ночные звуки, а сразу же разделся и упал на мягкую перину в горенке, где ему постелила тётя Феша. В комнате остро пахло геранью, тикали ходики, и Арсений уснул тотчас же, едва стал прислушиваться к их монотонному перестуку.

А проснулся Арсений оттого, что тетя Феша на кухне загремела противнями, и по всем комнатам расплылся ароматный дух домашней стряпни: сдобных витушек, по-

мазаных яичным белком, взбитым с толченым сахаром, словно обсыпанных чистым и хрустким снегом, тепло и сладко тающим во рту. Этот запах снова напомнил Арсению деревенскую жизнь, детство, и он, нисколько не медля, вскочил, натянул трико и вышел к тётке Феше.

- С добрым утром, тётка Феша. У тебя так вкусно пахнет, как раньше на пасху. Даже слюнки потекли.

- Скоро, Арсенька, будут готовы. Я и то думаю: угощу-ка племянника сдобой, горяченькая да с молоком из погреба - куда как хорошо. Я другой раз и сама охотница, да и дед мой любитель. Ему, беззубому, без корочек подавай.

- А где Фотей Иванович?

- К соседу упехтал. Лошадь просить. Говорит: пока Арсений здесь, поможет мне жердей нарубить. Прясло хочет поправить. Старо уже, как и мы сами. А ты иди умывайся, я воды в рукомойник налила. То да сё, и стряпня будет готова, и дед явится.

От всего этого: от дразнящего запаха постряпушек, от веселого теткингого голоса, просто от бесхитростного деревенского быта Арсению стало отрадно, легко, он вышел на высокое крыльцо, к стойке которого был прибит коричневый жестяной рукомойник с обмылком на облезлой крышке и невольно поехал от утренней прохлады. На востоке разгоралась ясная весенняя заря. У самого горизонта она была розовой, выше становилась желтой, а к самому зениту отливала бледной голубизной. Темно-синие, редкие и рваные по краям облака плыли на нее, словно айсберги в тихом спокойном море. А над ними, насколько хватал глаз, висели легкие серые облака-пушинки, похожие на осколки нерастаявших ноздреватых льдинок. В деревне Арсению показалось тихо, хотя, когда он прислушался, вовсю пели петухи, мычали прогоняемые пастухом коровы, на задах истошно орал пускач трактора, а в загоне в дальнем углу двора погогатывали запертые там гуся.

Арсений жадно вдохнул всей грудью, спустился на землю и, чтобы не изменять давней солдатской привыч-

ки, проделал одно за другим несколько гимнастических упражнений. У себя в части он обычно каждое утро совершал километровую пробежку, вот и сейчас открыл речные воротца и побежал через неспаханый еще огород узкой, натопанной с прошлого года тропинкой.

Да, дядя не зря говорил: озеро и впрямь обмелело, отползло от огородов, и его не могла вернуть в прежнее состояние даже вешняя, немалая в этом году вода. Раньше озеро плескалось у самых прясел; над водой склонялись ракитовые кусты, а теперь они оказались на сухоте и уже начинали чахнуть, редеть, потому что от недостатка влаги засыхали старые, самые разросшиеся побеги, а молодые выжигало летнее солнце, вытапывал скот и оттого озеро стало неузнаваемым и безликим. Правда, оно ещё было велико, не просматривался отчетливо другой берег, грязно-соломенно тянулись по всему его зеркалу кулиги высокого, толстого, но изломанного зимними ветрами тростника; видимо, и глубина оставалась немалой, но Арсений не узнавал прежнего озера, бежал отлогим солонцеватым берегом и снова из души его уходила радость встречи с родной землёй. Или он отвык от неё, или всего-навсего постарел, утратил беспечное отношение к окружающему миру, или в нем главенствовала боль многих здешних утрат - он этого не мог понять и, как ни старался воспринимать это раннее утро и всё, что в нем, с прежней беспечной радостью, всё же в нем эта беспечность не могла побороть трезвого, критического и прозаического взгляда.

Постепенно небо прояснялось, краски его теряли густоту; облака из темных становились более светлыми, спокойными, а зари Арсений не видел за камышами. Деревня стояла выше и курилась розоватыми фонтанами печных дымок. Над озером кричали беспокойные пигалицы, на скворечниках заливались в любовных песнях скворцы, а рядом в тростнике страстно позвала селезня кряквая утка. Он откликнулся издали, пролетел совсем низ-

ко и с плеском упал на плёс: такое нетерпение было в его полете. Утка закрякала снова, теперь спокойнее, а селезень зашавкал около неё в любовном нетерпении. Арсений остановился, засмотревшись на брачного селезня: он всегда был заядлым охотником и, когда выпадало время, безраздельно отдавался этой необъяснимой страсти. Раньше в Заборке многие увлекались охотой, ведь она в крестьянском питании составляла немалое подспорье; охотились с прилета и до отлета, прерывая добычливое занятие, когда утки начинали парить. А как только молодой поднимался на крыло, так опять охотились, всегда загадывая наперед, чтобы привалила охотничья удача - подплыл бы поближе хороший табунок - тогда на вес золота ценились охотничьи припасы. Но шло время, появились строгие запреты, и все меньше оставалось охотников в деревне: за неё держались только те, кто без охоты не мыслил своей жизни.

Арсений охотился лет с двенадцати, когда у него достало силенок держать одноствольное, оставшееся от отца ружье, не оставил своего увлечения и в армии: уж такая она зараза, что волнует человека до конца жизни. Служил он и за границей, и в безводной степи, и в дикой тайге, много испытал разнообразных охот, но не полюбил ни одной из них так, как любил охоту по перу, поэтому, когда его перевели под Астрахань, он радовался, как ребенок: знаменитые волжские плавни, обилие дичи, свое охотничье хозяйство, где можно отдохнуть вместе с семьей - чего желать не избалованному удовольствиями солдату?

Арсений шагал неторопливо, миновал крайнюю деревенскую избышку, очевидно, нежилую, с дырявой тесовой крышей, с поваленной изгородью: он помнил, что раньше в избе жила Семеновна, одинокая старушка, которую никто никогда не звал по имени, а только по отчеству. Арсений шел теперь восточным берегом, мимо черного парового поля. Когда-то здесь садили колхозную картошку и

ребятишки, отправляясь с ночевкой на рыбалку, подкапывали подальше от края гнезда, выбирали самую крупную, пекли в костре и, палочкой или ножичком счистив пригарь, ели вместе с румяной корочкой посыпанные крупной солью рассыпчатые печенки. Какое это было вкусное и желанное кушанье - картошка без хлеба! А то в закопченном котелке варили уху из карасей и хлебали её все вместе, по очереди черпая деревянными, специально подобранными для такого случая ложками.

«Надо узнать у тети Феши, кто из моих сверстников остался в Заборке, - подумал Арсений. - Помню, когда приезжал в прошлом году, видел я Антона Семечкова. Поздороваться - поздоровались, а поговорить - не поговорили. Здесь он живет или тоже, как я, наездом? Хорошо бы встретиться. Теперь, наверное, долго не бывать мне в Заборке. Совсем уйдут годы. Сюда уже не переедешь, я для деревни ломоть отрезанный, дом так и так нужно продавать. Ах, мама, мама, рано ты ушла от меня! Да что теперь? Горюй, не горюй... Лесник тот сегодня явится, торговаться не стану. За полцены отдам, пусть живут да меня добром поминуют. Дом ещё крепкий, долго простоит... К маме на могилку в село съезжу или схожу, как придется. Оградку покрашу: краску и кисточку я с собой привез...»

В таких раздумьях Арсений отошел от деревни довольно далеко, поднялся на пригорок и зажмурился: прямо в глаза ему лучами и едва ощутимым теплом брызнуло восходящее солнце. Поднималось оно из-за далекого леса, лилось красным светом, который дробился в воздухе, легкие перистые облака в небе горели яркой желтизной, а на земле всё вокруг на мгновение стало розовым - и помятые неподвижные камыши, и не отстоявшаяся от мути вода, и деревья, что росли по кромке поля - и только в тени, в закоулках таился холодный лиловый сумрак. А может быть, это лишь показалось внезапно ослепленному Арсению, потому что через мгновение розовая вуаль исчезла и опять стебли тростника стали грязно-соломен-

ными, поле черным, а сосны зелеными.

Арсений постоял, оглядывая раскинувшуюся перед ним полевую ширь, потом с пригорка стал опускаться к озеру и метров за сто от себя у береговых зарослей увидел незнакомого ему человека в старом коротком дождевике, высоких резиновых сапогах и простоволового, несмотря на прохладное утро. В одной руке мужчина держал двуствольное ружье, а в другой - трех или четырех уток. Каких - точно Арсений не разглядел, потому что испуганный его появлением мужчина сначала опешил, а потом бросился назад в камыши, с треском ломая сухие стебли. Некоторое время его голова мелькала среди зарослей. Арсений побежал за ним, но перед камышами увяз в липкой грязи, едва не оставив в ней одну из кроссовок, а пока выбирался на твердое место, мужчина уже скрылся в камышах, только слышалось, как бурлила под его ногами вода, а затем и вовсе ничего не стало слышно: видимо, убежавший затаился или уплыл на лодке, спрятанной поблизости.

- Эй, ты! - громко закричал ему вслед Арсений, взбежал на пригорок, но и оттуда никого не увидел среди плесов и камышей.

- Ах, гад, браконьер проклятый! - ругался он вслух, возвращаясь в деревню, а сам в мыслях запоздало корил себя, что не бросился напролом, как в молодости, забоялся грязи, холодной воды, поберег свою импортную дорогую одежду. Но корить себя теперь не имело смысла, и Арсений разговаривал сам с собой, вспоминая беспомощное выражение на полном небритом лице убежавшего от него человека. - Да таких, как ты, сразу же за решетку отправлять нужно. Судить открытым судом, чтобы другим неповадно было. Костя, дядя Фотей - вечные охотники - даже на озеро не выплывают, чтобы птицу не тревожить, а он в запретное время уток бьет. Даже не селезней, вот что самое обидное. Надо было мне его догнать! Никогда себе этого не забуду!

Конечно, разумом Арсений понимал, что из его попыт-

ки ничего бы не вышло: слишком неравно было их положение, но в душе сам с собою согласиться не мог, потому что даже просто несерьезное, небрежное отношение к охоте всегда вызывало у него негодование. Так уж он был воспитан старыми деревенскими наставниками, считающими охоту занятием серьезным, возвышенным, не допускающим хулиганства, баловства, требующим от человека душевной чистоты, честности и доброго отношения к природе, недаром некоторые его товарищи обижались, когда он возмущался их никчемной пальбой по бутылкам, по далеко летящей птице, считали его сухарем, начетчиком, но Арсений никогда не поступался тем добрым и непорочным, что вынес из своего бесхитростного детства.

- Неужели здесь нет егеря или на худой конец, общественного охотинспектора? - спрашивал Арсений Фотей Ивановича, когда они завтракали, и он рассказал старику о случайной встрече.

- Как же нет? - удивился дядя. - И егерь есть, Прохор Аникеев из Березова, и общественники. Только егерь за двадцать верст от нас живет и у него никакого транспорта, кроме велосипеда, нету. А общественники что? Что вот ты сегодня мог сделать? На берегу постоять да покричать, так и общественники, рази случайно какого тухтю поймают. Этот, твой-то, затемно откуда-то прикатил, на свету бабахнул и поминай, как звали. Кто его на той стороне караулит? Никто. Каждого не уследишь на таком окіяне. Километров двадцать кругом-то наберется. А наши ребята тоже не дома сидят. Они сейчас без выходных, без проходных работают. Весна. Вот охрана у нас никудышная! Егерь - только название! Зарплатишка меньше, чем у ночного сторожа, выехать не на чем. А-а! - махнул рукой Фотей Иванович и в сердцах вылез из-за стола.

Арсений понимал, что Фотей Иванович прав, но все-таки не мог забыть случившегося ни тогда, когда они ехали на брюхатой кобыле в Пестеревский лес, ни тогда, когда поправляли изгородь: ставили пасынки у подгнивших

столбиков, протесывали с двух сторон жерди и приколачивали их к столбикам гвоздями. После обеда Арсений с почтальоном Ильёй Данилычем уехал в село за семь километров от Заборки на кладбище, поправил могилку матери, обложил её по краям свежим дерном, посадил высланные женой неизвестные ему семена цветов, покрасил светло-голубой краской оградку, памятник и долго сидел у могилки, роняя на неё скупые мужские слезы.

- Милая мама, - думал он. - Пусть тебе земля будет пухом. Никогда ты нас больше не встретишь, никогда не проводишь от родимого крыльца. Вот и дом наш приходится продавать. Что поделаешь. Нельзя же человеку без дома, а дому без человека.

В Заборку Арсений воротился перед самым заходом солнца и у крыльца встретил тётю Фешу, которая шла с подойником и куском хлеба доить корову.

- А мы думали: ты не придешь, - обрадовалась ему тётя Феша. - Кого-нибудь из дружков в селе встретил, думали. Ну и ладно, что пришел. В доме-то у нас лесник этот, который насчет покупки хлопочет. Давно с дедом сидят, лесник-то вина принес, они по рюмке выпили. Магарыч, мол, да жаль продавца нету.

- Пусть посидят, - сказал тете Феше Арсений, - Я прямо в горенку пройду. Умоюсь да переоденусь.

- Умывайся, умывайся, не торопись, успеете сторговаться. Ты, Арсений, больно-то не дешеви, не баню продаешь, - наказала она.

- Хорошо, Тётя Феша. Я надеюсь, что и покупатель неглуп, не трухлятину предлагать будем.

- Ну, иди, иди, - проводила его тётя Феша, - Я Зорьку подою и тоже встряну.

Когда Арсений, одетый в летнюю военную форму, вошел в комнату, хозяин и гость о чем-то оживленно беседовали, а на столе перед ними стояла наполовину пустая бутылка «Экстры» и тарелка соленых, сохранивших первозданную красоту груздей, которыми на всю округу славилась тётя

Феша. Собеседники сидели к двери спиной и Арсения не видели, потому что Фотей Иванович продолжал рубить воздух жилистой рукой, а его собутыльник слушал, облокотясь на стол и наклонив голову на толстой загорелой шее.

- Всё вырубил! - горячился Фотей Иванович. - Раньше у нас какой бор, какие рощи были! А теперь? Всё сплошь жердняком затянуло. Сегодня с племяшом в лес ездили, насмотрелись. Рубят, кому не лень. И частники, и гортоп, и, черт знает, что творится. Раньше, единолично-то мужики добрый лес не рубили. Мы валежник собирали, кривули всякие. А лес берегли, посмотреть было любо. Как свечки...

- Добрый вечер, - проговорил Арсений, зная, что в таких случаях Фотей Ивановича не скоро остановишь.

Мужики обернулись, Фотей Иванович смолк, а его собеседник поднялся навстречу Арсению из-за стола и, хоть был он сейчас в полуботинках, в брюках и полосатом свитере, Арсений в нем сразу же узнал того самого браконьера, которого встретил утром у озера. А тот, видимо, Арсения не признал в форме, шагнул ему навстречу, протянул руку для знакомства, да так и застыл посреди комнаты с протянутой рукой, потому что Арсений своей ему не подал. Он стоял и гневно смотрел ему прямо в маленькие круглые глаза, смотрел до тех пор, пока тот, как и утром, не заводил ими по сторонам, пока не раздался из сеней голос тётки Феши:

- Вот и я отдоилась. А вы чего это посреди кухни стоите?

- Дак, - начал было мужчина, но Арсений не дал ему сказать.

- Убирайтесь вон! - таким голосом проговорил он, что мужчина невольно попятился и недоуменно повернулся к Фотею Ивановичу, ища у того защиты.

- Арся, ты чего? - выступил из-за стула Фотей Иванович. - Это же лесник, про которого я писал. Насчет дома приехал. Вот мы сидим, судим...

- Фотей Иванович, пусть этот человек убирается вон! - так же твердо сказал дяде Арсений. - Это он по утрам стреляет на нашем озере. Это его я встретил сегодня с

отстрелянными утками.

- Что? - задохнулся от гнева Фотей Иванович, а побледневший от страха мужчина боком проскользнул к вешалке.

- К чертям собачьим такого покупателя, как вы! - шагнул за ним Арсений. - Ничего я вам не продам, никакого дома. Пусть он лучше сгниет, чем попадет в ваши грязные руки. И вообще катитесь-ка вы из этих мест к ядреной бабушке. Без вас воздух чище будет. Какой вы лесник! - презрительно крикнул он вслед мужчине, который второпях схватил плащ и шляпу, выскочил за двери.

Фотей Иванович уцепил недопитую бутылку со стола, распахнул створку и, пока мужчина бежал по двору, бросил эту бутылку ему под ноги.

- И вино свое забери! Да не попадайся мне на озере. Не смотри, что я старый, чего доброго ноги выдержваю, а спички вставлю.

А тетя Феша так и стояла с подойником в кути, не знала, что ей говорить и делать. Об ее ноги терлась пушистая серая кошка, мурлыкала, ходила восьмерками с поднятым хвостом, смотрела зелеными глазами на хозяйку, не понимая, почему же та не наливает ей вкусного парного молока в треснувшую по краю тарелку.

... Через день Арсений уезжал. Фотей Иванович проводил его до попутного автобуса, шофер которого заехал за фельдшерницей.

И дядя, и племянник крепко обнялись, Фотей Иванович даже прослезился. Арсений устроился у окна, помахал родственнику рукой, и вдруг на него навалилась всей душевной тяжестью тоска. Он закрыл глаза, чтобы пассажиры не видели его слез и так, с закрытыми глазами, сидел, пока автобус не вырвался на асфальтированную дорогу.



НА ОЗЕРЕ СЛАДКОМ

В ожидании всегда призрачной охотничьей удачи колесили мы с Юрием Колудеем на выносливом нетребовательном «Иже» по северному Казахстану, кружили по десяткам запутанных полевых дорог, объезжали заросшие наглухо болотины, озера с коричневой от отраженных в них камышах водой, спускались в глубокие котловины, поднимались на пологие перевалы, но все ехали обжитой и пропахшей пшеничной соломой степью.

Уже заканчивался необыкновенно распогодившийся сентябрь, и с самого раннего утра нагревалась неоглядная степь, словно гигантский, до блеска начищенный желтый противень. А по этому противню были то рядами составлены копешки, издали похожие на пышные, только что вынутые из духовки пампушки, то кучи, напоминающие испеченные в русской печи ковриги, то продолговатые стога, что казались мне буханками из городской пекарни.

Дни стояли безветренные, даже душные, над стерней плыла белоснежная невесомая паутина, и вся степь дышала таким густым хлебным запахом, что им насквозь и надолго пропиталась наша одежда. В незамаранной синеве печально курлыкали пролетные журавли, и столько света, простора, покоя лилось на нас, что все это начинало ублаживать некоторым однообразием, примаривать внезапной походной ленью. В таких случаях мы подруливали куда-нибудь в сторону, развязывали истрясенный в коляске рюкзак и жевали черствый ноздристый хлеб, запивая озерной водой из фляжки. А после час или полтора

нежились на упругой похрустывающей соломе, придремывая, а затем снова двигались наобум, вспугивая с полос дружные табуны уток, а иногда и сторожких гусей, которые поднимались на крыло, завидев нас за полкилометра.

На далеких массивах оранжевыми божьими коровками ползали могучие "Кировцы", но безотвальная вспашка несколько не портила бесконечной желтой картины с вкраплениями пятен красноватых кустарников по низинам. Иногда встречались нам ловкие, воедино слитые с конем пастухи-казахи, иногда мелькала какая-нибудь раздрызганная на уборке автомашина, а в основном степь была безлюдна и тиха в своем осеннем уборе.

Необъятен целинный казахский край, много в нем озер, немало на их недоступных зеркалах дичи. Но нас с Юрием заманивало не это – на обед и одной утки хватило бы нам с лихвой – нас вело живущее в каждом истинном или, как говорит Юрий, "натуральном" охотнике желание увидеть новое, попасть в неизведанное, да в такое, чтобы его навсегда сохранила память.

И вот наткнулись мы на красивое и такое большое озеро, что и с высокого холма не могли разглядеть его противоположный берег. Похожее на огромную казахскую пиалу для кумыса, обрамленное непроходимыми переплетениями тускло-золотистых тростников, оно лежало перед нами, поблескивая темной водой, и было по его окружности не менее двадцати километров.

Мы остановились, обрадованные и пораженные, потому что даже в этих богатых водой местах не часто встречаются такие вот глубокие, открытые и неохватные взглядом чаши. А когда-то озеро было еще больше: его не очень пологие берега спускались книзу ступенчатыми террасами, которые намыла отступающая вода. Террасы еще не полностью заросли травой, просвечивались матовой белизной соли, сыростью высохшего озерного ила и мелкой галечкой.

Мы стояли долго и молча смотрели на слившиеся в одно целое пушистые перья тростника, на утонувшее в

темной воде солнце. Потом переглянулись, без слов поняли друг друга, после чего Юрий тронул мотоцикл, мы спустились в тряскую низину. Поехали берегом, поросшим разлапистой, но низкорослой травой.

Само озеро надвинулось, раздалось в обе стороны, тростники сразу же выросли, закрыли горизонт. Около получаса мы огибали заросли, как вдруг за крутой изгибиной увидели у самой воды подводку – одноконную фуру с решетчатыми бортами и запряженную в неё серую худую лошадь.

Недалеко от них копошился согнувшийся человек: очищал от озерной грязи перевернутую вверх днищем лодку. Заслышав стрекот мотоцикла, он выпрямился, а когда мы остановились поодаль, чтобы ненароком не испугать лошадь и подошли, то человек оказался высоким стариком в резиновых, развернутых до конца сапогах, в полинявшем солдатском маскхалате и вытершейся меховой шапке. Один наушник у неё был подвернут, а другой свешивался вбок завязкой, что придавало старику несколько простецкий вид, хотя его раскосые, чуть прищуренные глаза на суровом морщинистом лице, почти скрытом в седой вьющейся бороде, смотрели на нас не приветливо, не сердито. Старик выжидал: настороженность не сходила с его лица и даже тогда, когда мы поврозь поздоровались, он ответил пытливо, но нелюбезно.

- Здравствуйте, молодцы удалые! Куда путь держите?

- Да сами не знаем, дедушка, - со своей широченной улыбкой сказал Юрий. – Едем, куда глаза глядят. Охотники.

- По одежке-то оно так. Да не всякий, кто подпоясан патронташем, охотник. Сейчас по нашей степи много всякого люду шляется. На той вон полосе, - ткнул он пальцем на север, - какие-то за гусями всё утро на "Зиле" гонялись. Двое в кучки спрячутся, а один загоняет, машину рвёт. Я за ними долго в бинокль наблюдал. Тоже мне охотники, - презрительно усмехнулся старик, - а не дотумкают своими котелками, что гусь не глупый косач, который и к рукавице сядет. Гусь за версту подвох видит. А вы чего

ищите? – сурово спросил он и так пристально посмотрел на нас, словно и от нас ожидал подвоха

- Мы сами таких не любим, дедушка, - примирительно сказал Юрий, и я по его тону понял, что ему, как и мне, тоже захотелось расположить к себе этого негостеприимного старика. – А ездим из интереса. На степь смотрим, на озёра. Впервые в таких раздольных местах.

- Сами-то откуда будете?

- Издалека, дедушка. Курганские мы, - вставил слово и я.

И оно произвело на старика неожиданное действие: с его лица, словно тень от облачка, сошла строгость, оно стало приветливым и таким добродушным, улыбчивым, что все трое мы невольно засмеялись.

- Курганские? – не то воскликнул, не то переспросил старик, суетливо переступил туда-сюда, потом сорвал пук травы и вытер ею заскорузлые от грязи ладони.

- Курганские? – с некоторым недоверием повторил он, отпахнул полу маскхалата, достал пачку сигарет, но не закурил, а спросил снова:

- Из самого Кургана?

- Нет, дедушка, не из самого. В тридцати километрах от Кургана живем. В деревне.

- Так-так, - еще больше посветлел старик и протянул нам сигареты. – Закуривайте, ребята. Я сам курганский. Из Варгашинского района. Вы, случаем, не оттуда?

- Нет, мы из Кетовского.

- О-о! – это же рядом с Варгашами. Земляки встретились, - обрадовался он, - а я думаю, что за люди подворачивают? Не всех по одежке встречать надо. Подъехали так-то ко мне трое на “Жигулях”. Повечеряли, даже рюмку подали. Говорят: “На перелёте зорьку постоим”. А когда я уплыл на озеро, уехали и чучела мои увезли. Чучела-то доброго слова не стоили, старьё, им цена в базарный день – копейка, а позарились. Вот вам и охотники, вот вам и на “Жигулях”, - заключил старик сокрушённо.

И пока шел такой разговор, я осмотрел стариково имущест-

ство, в основном состоящее из принадлежностей для охоты. Надо заметить, что почти всё у него было самодельное – и фура на резиновых колёсах от какой-то сельхозмашины, и плоскодонка, покрытая защитной краской, и двухместный садок для подсадных уток, и даже ложа прислоненной к садку двустволки и хромированной, но уже потускневшей коробкой. Да, всё было самодельное, но исполненное с любовью, умением, аккуратно и прямо-таки изящно.

Старик еще не успел уложиться, и здесь же лежали крашенный в черный цвет тулуп, закопченное ведро рядом с проволочным треножником, несколько поленьев у оставшегося огнища, набитый патронами патронташ, старое стеганое одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков, а на нем полулитровая алюминиевая кружка. Мне всегда мил этот беспорядок на охотничьем становище: есть в нем что-то вольное, отвергающее некоторые придуманные людьми условности, располагающее к простоте, душевности, при которой можно говорить прямо обо всем, долго и откровенно.

- Далеконько же вы на охоту забрались, - между тем говорил старик, попыхивая дымком, - далеконько. Хотя сейчас что-то пешком-то не ходите.

- А вы, дедушка, где живете? – спросил я его.

- Тоже, сынок, не близко. В Троебратном.

- В Троебратном? – изумились мы с Юрием. – Это же тридцать с лишним километров!

- Что поделаешь, пожал плечами старик. – Охота пуще неволи. Мы с Орликом потихоньку, полегоньку и добрались до Сладкого озера. Две ночи ночевали, а сегодня домой. Душу стешили и ладно.

- Что же здесь, дедушка, охота хорошая?

- Да какая охота. Четыре лысухи взял да трех кряковых. Чернядь уже ушла. Озеро за последние годы обмелело, трава, которой лысухи питаются, нынче не выросла – и лысух мало. Мелеют озера-то наши, ох, как меле-

ют. Где раньше сети ставили, там теперь сухо. А люди, как неразумные, этому способствуют. Посмотрите, - показал вдаль старик, - почти до самой воды все озера опухли. Сейчас по весне в них не вода, а грязь течёт. Такую степь распахали и всё земли мало. Неужели эти два-три гектара совхоз или колхоз от бесхлебья спасут? Сначала-то на целине не так было. Заставляли вокруг озер водоохранные зоны оставлять. А теперь всё забыли, губим и рыбу, и дичь. Я раньше-то помногу лысук здесь брал, тогда ведь без всякой нормы охотились. Бывало, привезу домой, отеребим со старухой, в бане закоптим и поедаем всю зиму, да гостей потчует. Нынче лысук, не в пример, меньше стало, а кряковую где возьмёшь. Она сейчас ученая, в такие крепи падает, что не проберёшься.

- Зачем же вы в такую даль ехали, дедушка? - почувствовал Юрий.

- Эх, ребята, ребята, - со вздохом и укором сказал старик, не глядя на нас, а глядя на широкий озерный плес, поблёскивающий искринками ряби. - Молодые вы, поймете ли? У каждого охотника, если он охотник, а не так себе, есть своё любимое озеро. Вот и у меня Сладкое - тоже любимое. На многих озерах я охотничал и уток стрелял, и гусей не один десяток добыл, а лучше Сладкого не нашел. Есть и просторнее, и глубже, есть пресные и соленые, а не то. Не лежит к ним сердце, не радуют они его.

- Почему же так, дедушка?

- Кто его знает, ребята. На целину я приехал в пятьдесят четвертом сына проведать. А погостил, посмотрел и приманула меня степь. Через год навсегда сюда перебрался. Сын-то на тракторе, а я на родине-то в колхозе пастушил и здесь в совхозе пасти устроился. Да пятнадцать лет и отпас коровушек на целине. От весны и до осени мы с напарником Василием Петровичем у Сладкого жили. Хороший был человек, теперь помер, царство ему небесное. Так вот, бывало, приедем мы сюда, только снег сойдет, загоны поправим, вагончик вычистим, побелим. Вре-

мя-то самое веселое. Птицы тьма-тьмущая. Утки, гуси, лебеди трубят, кулики по берегам токуют, журавли танцуют на болотах. Душа радуется. Мы и поохотимся для пропитания и гнезд своими руками наделаем для птиц. Тоже польза. Глядишь, и выводков побольше на озере. Летом не стреляли, Боже упаси, и другим не давали. Иной раз трактористы загоношатся на стану, так их усовестить, уговоришь, вот птица и размножается. А уж осенью, пожалуйста, дело другое. Мы с Василием Петровичем, бывало, съездим на денек-другой в Суворово и опять сюда. До пенсии-то я в Суворовском совхозе работал. Это уж когда на пенсию вышел, к сыну переехал, старуха у меня прибаливать стала. Да-а, живу вот в Троебратном, а без озера не могу. Зимой так затоскую, что во сне его вижу, а то и вовсе до свету не сплю. Охотой я заражен с малых лет, вот и мучаюсь под старость.

- Сколько же вам лет, дедушка?

- Да семьдесят второй позавчера минул. Слава Богу, на Сладком и день ангела справил, - засмеялся тихонько старик и морщины на его лице стали глубже, отчетливее. - Бутылочку вина выпил, рыбку на уху поймал. Думал: успокою тоску, а ещё больше растравил. Уезжать вот надо.

- А вы оставайтесь, - предложил Юрий. - И мы с вами денек-другой проведем.

Старик было обрадовался такому предложению, даже повернулся проворно к Юрию, но тут же сник и беспомощно развел руками:

- Рад бы, только не могу, сыны. Старуха у меня слабая, недомогает второй месяц. На три дня и отпросился. К тому же сын с невесткой да внуком в гости укатили. В отпуске они. Поехали к родне, сейчас самое время: фрукты-ягоды поспели. Не хочется мне уезжать, да что поделаешь. Собираюсь. К вечеру с Орликом дома будем. Хоть и старые оба, а без семьи тоже никак нельзя.

- Так это ваша лошадь?

- Да. Мы с ним теперь до самой смерти будем нераз-

лучны. Я взял его необъезженным трехлетком, сам обучил и под седлом, и в запряжке ходить. Конек смышленный, так привык ко мне, что по пятам бегал. Куда я, туда и он. Кони, они на ласку податливые. А года через два привязалась к нему какая-то непонятная болезнь, обезножил он, передвигаться совсем не мог. Кое-как по двору шагов пять сделает и без сил голову повесит. Наши ветеринары бились, да и рукой на него махнули. Не вылечить, дескать, твоего Орлика. Его уже совсем хотели было забить, да я упросил всех Христом-Богом не трогать. Директору тогдашнему суворовскому Бояну Мукеновичу спасибо: он на мои слезы сжалился.

- Только зря, - говорит, - вы, русские, такого коня жалуете. Казаху такой конь не нужен, из него махан добрый получится. Да ладно, ты на пенсию уходишь, забирай Орлика. Выходишь, пусть у тебя живет, не выходишь - винить не станем.

- Выходил я его, как видите, - с гордостью произнес старик и посмотрел на нас торжествующими глазами. - Кое-как привел его домой, в коровьем хлеву устроил. Какими только таблетками не кормил, какими только натираниями не мазал. Ничего не помогало. Уж я и книжки ветеринарные стал читать, и на областную ветстанцию в Кустанай ездил. А вылечил вот совсем другим. Василий же Петрович, покойный, мне посоветовал. Ты, говорит, у цыган этой конской болезнью поинтересуйся. Они в таких делах смыслят. Послушал я его, поехал к старому цыгану Андрею в Озерное. Он тоже скотину пас, даром что цыган, а жил, как мы, грешные. Он и подсказал мне, чем коня выпользовать. Грязи, дескать, озерной надо к его ногам прикладывать. Есть такое озеро недалеко отсюда. Соленое. Сейчас оно, правда, полностью высохло, а тогда в нем воды четверти на три было. Вот оттуда грязь я и возил. Привезу, обложу Орлику ноги, обмотаю их всякими тряпками и жду исцеления. А чего жду? - опять засмеялся старик. - Не сразу же конь на ноги встать должен. Да

так-то вот месяца два и возился, как с малым дитем. Встал-таки Орлик на ноги. И в Троебратное со мной перебрался. Вот такая история, сыны. Всякое в жизни случается. То она человека по голове погладит, а то и стукнет. Жалко, годы уходят, - горько тряхнул ушанкой старик. - Одно у меня утешение - охота, и та скоро не под силу будет. Сейчас и то руки дрожат, а чем дальше, тем хуже. Скоро и ружья не поднимешь.

- Дедушка, а что у вас за ружье? - спросил я, чтобы отвлечь старика от горьких мыслей. - Не разрешите ли посмотреть?

- Хоть и говорят, что ружье да жену не доверяй никому, посмотри коли любопытствуешь, - с ехидцей разрешил старик. - Оно у меня разряжено.

Я с несомненным интересом взял в руки его двустволку. Это было легкое, красивое и тонкоствольное ружье редкой для наших мест шведской фирмы Шегрен. Через минуту старик протянул свою руку, я подал ему ружье, а он положил его на колени, ладонью любовно огладил ложу, пятнистую от времени коробку и неизвестно чем выщербленные, в ямках стволы.

- Шестнадцатый калибр, - вроде бы про себя сказал Юрий.

- Шестнадцатый. Но мне за него никакого двенадцатого не надо. Сынок мне это ружье купил, когда служил в Германии. Редкого боя ружье. Не поверите, бывало, поедем с товарищами на охоту, сядем рядом. Я из своего беру гусей, они - нет, а стреляют не меньше моего и стрелки получше, чем я. Тогда здесь гусей несчетное число было. Посевы начисто обклеивали, куда повадятся. В пятьдесят шестом году всё лето охоту не закрывали. К нам тогда на охоту даже артист из Москвы приезжал - Петр Глебов, который Гришку в "Тихом Доне" играет. Встречался я с ним, на засидку сопровождал. Из охотничьего общества просили. А ружье у меня отменное. На него столько покупателей находилось, что я со счету сбился. Пятьсот рублей давали, не продал, дорожил им. А четыре года

назад украли его у меня. Украли из дома, из-под замка, так думал: с ума сойду. Места себе не находил от горя, горячими слезами ревел. И сам искал, и в милицию заявил, потом смирился, одно за одним два ружья купил. Не к душе оба, только припас переводил. Так перемучился, думал, охоту брошу. Вот натура какая!

Старик замолчал, снова стал закуривать, долго разминал тугую папиросу, продул мундштук, пошмыгивая узким носом, на котором росли пучком короткие волосинки.

- И как же оно снова оказалось у вас, дедушка? – не вытерпел я.

- А сосед ко мне пришел, - продолжал старик. Синий дымок запутался у него в усах, не выкарабкался оттуда и растаял с первым дуновением ветерка. – Пришел и ружье принес. Упал в ноги: прощения, говорит, прошу у тебя, Вавилыч. Зависть меня обуяла по пьяному делу. Это я твоё ружьё украл да и в колодец спрятал. Прости, говорит, меня, дурака набитого. Хочешь, говорит, бей меня, хочешь, в суд подай, только не могу я больше смотреть на твою муку. Исхудал ты весь, даже ветром тебя качает. Да я и сам, говорит, сильнее твоего страдаю. Позавидовал тебе, позарился на ружьё, не подумал, куда я с ним денусь? Ни продать его нельзя, ни самому с ним охотиться. Разве только уехать куда-нибудь. А куда я поеду от семьи? Семья-то не знает, что я ружьё украл. А ведь у меня уже дети взрослые. Так-то, ребята, с ружьем моим произошло. Что ж, повинную голову меч не сечет, простил я соседа. Сам себя наказал он воровством своим необдуманном. А ружье в колодце полтора года пролежало. Видите, от воды раковины на нем снаружи. И ложа испортилась, пришлось самому другую ладить. Хорошо, что хоть бой прежним остался. Теперь я его младшему внуку завещал. Состарею, а он десятилетку закончит. Вот и пусть охотится на здоровье да деда вспоминает. Сыно мой не охотник, а внук весь в меня: день и ночь готов пропадать с ружьем. Такая уж зараза – охота. Как завле-

чет с малолетства, так и не отпустит до старости. Я на своем веку, как на долгом волоку, чего только не пережил: и голод, и холод, и войны немало прошел, четырежды раненый, а на свете живу только благодаря охоте. Не она бы - и меня на свете не было.

- Как же так, дедушка?

- А вот так, сыны. Заболел я летом сорок четвертого туберкулезом. Может, и раньше заболел да только тогда почувствовал. Слабость, задышка брать стала, одним словом, выбыл из строя. Меня сразу в госпиталь. Сначала в полевой, где-то на Украине, сейчас уж не помню названия того места, потом в Узбекистан. Ну, как на юг привезли, думаю: дело серьёзное. Не жилец. Это сейчас всяких лекарств напридумывали, всех вылечивают, а тогда в войну какое лечение? Думаю, не будет меня на этом свете. Месяц пролежал, никаких результатов, второй, третий. И вот в ноябре – комиссия. Проверили меня, на другой день вызывают: поедешь, сказывают, домой. Комиссуюем мы тебя, даём тебе вторую группу. Будешь пособие получать. Отслужил солдат. А врач у нас хороший, душевный такой, разговорчивый. Бывало про всё расспросит. Побольше, наказывает мне, на свежем воздухе бывай, мед ешь, молоко пей, соки, овощи-фрукты потребляй. Отправили меня домой. Хоть и радостно, что живой еду, а мысли разные мучают. Больной, а дома жена с ребятишками – трое их у нас. Всё передумал за долгую дорогу. Приехал. А что дома в войну? Семья еле концы с концами сводила. Жена перед моим приездом и корову продала: молоко она от тяжелой работы потеряла. Сами на картошке да на мякине перебивались. А из "фруктов" только редька да свекла. Нерадостно мне стало, что я такой домой заявился, ребятишек объедать. И так я думал и так полагал, пока не вспомнил про свою старенькую берданку.

- Не продала? – как-то спросил жену.

- Не продала, - говорит, - как же я могла без тебя продать.

- Ага, достал я с полатей берданку, почистил, смазал,

припасу кое-какие крохи по соседям собрал. И однажды утром по притемкам, чтобы никто не видел, пошел. Да целый день и прошагал по лесу. Шучу, конечно, бродил-то я потихонечку-полегонечку, а день зимний долг ли? Дичи в то время было много. Зайчишки выскакивали, куропатки вылетали, а мне всё казалось — далеко, жалко попусту заряд тратить. Устал с непривычки, а не хотелось домой без добычи возвращаться, срамиться. Перед своими было бы совестно, а уж о чужих и говорить нечего. Засмеют, думаю: болтается, мол, без толку горе-охотник.

А солнышко не успело подняться, как уже закатывается. Смотрю: оно всё ниже да ниже, не заметил, как и день промелькнул. Присел я на пенёк отдохнуть немного, дух перевести. Всё, думаю, придёт домой ни с чем идти. Сижу, горюю, а передо мной этак-то, — обрисовал впереди себя старик, — лесоповалина, а на ней листья пожелтевшие. Я что-то закашлялся, а из-под неё — заяц. Выскочил, стреканул и давай бог ноги. Как я его стрелял, не помню, в соображение не возьму, только заяц перекувырнулся и лежит недвижимый. Я и ружьё оставил — к нему, добежал да и упал на него коршуном. А сам ртом воздух хватаю и мокрый стал, как в бане. Это болезнь во мне себя показывала. Отдышался я, кое-как поднялся да так волоком и потащил зайца домой. Там меня уже потеряли, все глаза в окошки проглядели. Долго ли с больным человеком до греха, тогда и волки у самых огородов стаями ходили. Ну, как увидели мои меня да с зайцем, так ребятишки запрыгали, радуются, а жена, та в слезы, даже меня до прослезенья довела.

Много, сыны, мне в жизни пережить пришлось. Сейчас у нас всё есть, сыты мы, одеты, а тогда сто граммов мяса на неделю растягивали. Помню, оснимал я зайца, разрубил его, так и вымачивать не стали, суп варить приставили. А жена завернула лопаточку заячью в тряпку да скорее с радостью к соседке и ей на варевце отнесла.

С того дня так и двинулось у меня дело. Всю зиму за-

нимался охотой. То зайца добуду, то косача к чучелам приманю, то лисичку в капкан поймаю. И волк под выстрел попадал. Шкурки я в сельпо сдавал заготовителю, а мне за них припасу выделяли, муки понемногу. Я тогда и семью подкормил, и здоровье мое на поправку пошло.

По второй весне почувствовал себя совсем здоровым. Доктора на третью группу перевели, удивлялись моему выздоровлению. А я не забывал совета госпитального врача. Всю редьку, свеклу, морковь, весь чеснок в деревне на добычу выменивал. Односельчане удивлялись, судачили между собой, а я своё сотворял. Насочу, бывало, доморощенных “фруктов”, отожду и пью натошак. А после на охоту, на свежий воздух, целый день дышу этим воздухом. Места наши привольные, целебные, простору много.

Весной сорок пятого война закончилась, а я в это время в пастухи попросился, скотину колхозную пас. Так что для меня победа-то двойной радостью оказалась. И фашистов разбили, и я от болезни вылечился, благодаря охоте.

С той поры, слава Богу, и не болел. И охоту никогда не бросал, все равно как-нибудь выкручивался, чтобы за белячишкой сбегать или провести зорьку на озере. Ничего, ребята, для понимающего человека лучше и нет. Порой посмотришь: пьянка да безобразие у людей, это уж совсем никуда не годно. У охотников такого не случается, они люди затейные, им есть чем себя занять. Да вы теперь лучше меня, старика, это понимаете.

Старик помолчал, посидел, подперев голову руками. Помолчали и мы после его рассказа.

Где-то далеко присвистнул запоздавший с отлетом кроншнеп. Старик вострому носу, глянул в небо и ответил ему протяжным тоскливым свистом. Кулик откликнулся старику, они пересвистывались минут пять, и одинокая птица летела, не подозревая обмана, пока не выплыла из-за камышей и не оказалась над нами. Я следил за стариком, а он добродушно посмеивался в усы, поглаживая седую бороду. И хотя недолго было вложить патроны в

стволы и свалить кроншнепа, старик даже не подумал сделать этого, просто проводил испугавшегося нас кулика глазами и поднялся.

- Доверчивая птица, - сказал он. - Когда летит стая кроншнепов, ни за что на обманку не поддадутся. А когда кроншнеп один, скучно ему. Вот и ищет себе дружка, чтобы в теплые края вместе лететь. Посвистишь так-то, он к тебе к самому подлетит. Не думает, глупый, что его убить могут. Люди-то всякие есть, которые совсем без жалости, им этого кулика застрелить ничего не стоит. Ладно, ребята, собираться мне пора, - невесело закончил он и, ссутулившись, пошагал к фуре.

Дремавший до этого Орлик открыл слезящиеся глаза, стегнул себя по боку хвостом, потом потряс мордой, словно очухиваясь от дрёмы.

- Сейчас, Орлик, сейчас, - успокоил его старик. - Манатки погрузим и помаленьку двинемся. Солнышко-то уже высоко, а день осенний короток.

Мы тоже поднялись.

- Дедушка, мы поможем вам, - предложил Юрий.

- Пособите, ребята, пособите, - согласился старик. - У меня поклажа не тяжелая, разве что лодка. Давайте её в первую очередь. Вот сюда, - указал он, когда мы с Юрием поднесли плоскодонку. - Она у меня как раз по размеру сделана. Я в лодку-то всё остальное сложу и сам сяду. А соломки у первой копейки набросаю и поспать можно будет, пока еду. Орлик у меня умный, без поводьев дорогу знает: хоть сонного, хоть пьяного прямо к воротам привезёт.

Мы по очереди носили стариковы вещи, а он привычно, неторопливо раскладывал их по своим, раз и навсегда определённым местам, упаковывал, чтобы ничто не брэнчало, не звякало, чтобы всё лежало плотно, не топорщилось бы и не потерялось в долгой поездке.

- У меня, ребята, времени хватает, - между делами говорил нам словоохотливый старик. - Я журнал охотничий выписываю. И в последнее время диву даюсь. Шибко уж

на нас охотников разные писаки ополчились. Чуть ли не злодеями считают. Бывает, что так начитаешься и раздумаешься: может и, правда, оставить охоту, раз тебя во всех грехах виноваты? А с другого конца покумекаешь: нет, не охотники виноваты, что дичи меньше стаёт. Опыхали наши озера до самой воды и кого же, кроме нас, охотников это тревожит? Никого. Только мы на всех собраниях и совещаниях кричим об этом. Толку мало, твердолобость не сразу прошибёшь, но мы всё равно и говорить, и писать, куда следует, будем. Может, и дойдёт до умных людей, поймут нас. Или, думаете, тот премудрый писака, что нас винит, весной гнезда для уток делает, сено заготавливает и развозит для диких животных, когда снег непроходимый навалит? Или он браконьеров по ночам ловит, лесные уголья охраняет? Вряд ли. Скорее всего он только жалостливые статейки пишет, а сам палец о палец не ударит, чтобы животным помочь. Охотник, если утку в трудах праведных добудет, так сам ею покормится и семью дичиной угостит. Да отдохнет на воле, душу свою убогаторит. А вот кому польза от того, что утка от зерна травленного погибнет или косуля удобрений налижется? Кому польза, что озеро грязью заплывает, а рыба невыловленной останется? Или лес от химикатов сгорит? У нас нынче осот уничтожали, отраву прыскали. Осот-то к осени метра по полтора выдурил, а лесочки наши последние пожелтели. Свернуло их. Вот против чего в первую голову бороться надо, а не против охотников. У кого же, как не у нас, сердце кровью обливается, если природа гибнет? Правильно я, сыны, говорю?

- То-то и оно, - довольный нашей солидарностью продолжал старик. - Я, например, согласный, чтоб и охоту запретить. Года на два, три, пусть на пять. Только по всему миру. Чтоб нигде не стреляли. Ни на севере, ни на юге. И с границей договориться, чтобы и там птице покой дали. Бог знает, может, мне этих пяти лет и не прожить, а я за такое голосовал бы обеими руками. А дожил бы, да

мочь бы осталась и ещё бы приехал сюда на охоту.

К тому времени всё его имущество было уложено. Старик без нашей помощи прикрыл его брезентиной, увязал тонкой крапивной верёвкой, обошёл вокруг фуры, подправил кое-где выпятившийся из решётки брезент, осмотрел возок и тронул коня за холку.

- Ну вот, Орлик, и собрались мы...

И весёлая жизнерадостность покинула старика, он отошёл от фуры, остановился лицом к озеру и сейчас же сделался беспомощным, растерянным и жалким. Его высокая фигура показалась мне ниже, ссутулилась, узловатые от вен руки опустились вдоль бёдер, пальцы подрагивали, перебирали по штанинам, и эта дрожь передавалась всему телу старика: у него затряслись плечи, губы, выпятился и опал острый кадык, а глаза стали влажными и синими, как небо. Не глядя на нас, он снял шапку, пошёл к озеру и долго стоял на берегу у самой воды, думая свою невесёлую думу. Легкий ветерок развеивал его стриженные в кружок волосы, они трепетали и сверкали на солнце, как пролетающая над степью белая паутина. Потом старик поклонился, зачерпнул сложенными ладонями воды, напился и отступил туда, где было посуше. Там он опустился на колени, трижды поклонился в сторону озера и поднялся.

- Прощай, Сладкое озеро, - тихо проговорил он. - Может, больше не свидимся. А свидимся, ещё раз напьюсь я твоей прозрачной воды, ещё раз выплыву я на твои плёсы, посмотрю на тебя. Эх!

Старик махнул рукой, повернулся, прошел мимо нас с мокрым от слез лицом и лишь около подводы немного задержался.

- Прощайте, сыны. Спасибо за беседу, за помощь. Поеду я. Будете в Троебратном, заходите, милости прошу. Спросите Вавилыча, вам всякий покажет.

Он отвязал от передка вожжи, забрался в фуру, поерзал, чтобы сиделось поудобнее, тронул удила и его вер-

ный Орлик, наклонив лохматую голову, мелко заперебирал ногами в сторону огибающего озеро увала. Колёса фуры продавливали влажный солонец и оставляли на нем два четких рифленых следа.

Мы с Юрием стояли около погасшего костра и видели, как на увале старик приостановил коня, выпрямился во весь рост и ещё раз с высоты оглядел любимое озеро, с которым у него было так много в жизни связано и с которым он так трудно каждый раз расставался.

И лошадь, и фура, и он сам ясно вырисовывались на фоне чистого неба, где сияло нежаркое солнце, и опять печально курлыкали пролетные журавли.



20р.00к.

СОДЕРЖАНИЕ

Две встречи.....	6
Гармонь.....	17
Доброта.....	32
Дети ждали маму.....	44
Ненастной ночью.....	54
Лесная история.....	69
Мгла над степью.....	80
Семейный альбом.....	103
Возвращение.....	118
Два дня в Заборке.....	130
На озере Сладком.....	147

Николай Аксенов

Доброта

рассказы

Редактор Г.Е. Устюжанина
 Корректор В.П. Заярная
 Компьютерный набор
 и верстка П.Г. Устюжанин

«Парус-М»

Лицензия ЛР №071414 от 24.03.97г.
 Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная №1. Печать офсетная.
 Гарнитура ARIAL. Усл. п.л. 10,25. Тираж 500 экз. Заказ 322.
 Отпечатано с лазерного диска «Парус-М» в ГУП «Куртамышская типография»
 Администрации Курганской области, г. Куртамыш ул.22-го Партсъезда,7.

20 - 00